

Еще с ночи заплывали чёрные тучи ледяное, с прожилками созвездий небо. Под утро воздух замутнел, поседел, а солнце, полыхнув огненным краем из-за окоёма, едва тронуло пылью позолоты чуткий ворс укрывшей степь снеговой шкуры и кануло в низких, брюхатых метелью тучах. Тогда ветер морозным жаром опалил щеку, сорвал со рта белую прядь выдоха, заслезил глаза. Через тусклую раскатистую дорогу, выбитую копытами и залезанную полозьями саней, потекли, змеясь, серебристые ручьи позёмки, шевельнулись на макушках сугробов седые космы, вытягиваясь по ветру.

Петр Прозоров притянул, сжав в кулаке, поводья. Конь, сворачивая морду набок, осел на задние ноги, переступая и взрывая крепкими копытами снежную пыль, становясь поперёк дороги, задом к ветру. Вплотную к Прозорову остановились Аверин и Домбровский. Кони, словно челомкаясь, потянулись друг к дружке всхрапывающими мордами, от нежных вздрагивающих ноздрей метался белыми клочьями пар.

А ветер уже замешивал воздух снежком, швыряя в лицо колючую, как толчёное стекло, морозную пыль. Сквозь её косые белёдые мазки ещё видны были и конники, осаживающие лошадей, и разделившиеся на пологом склоне дороги: одна уходила на юг к солёным, даже в лютые морозы не леденеющим озёрам, другая круто забирала вправо, к степным станицам. Однако Петр Прозоров, нащурясь, пристально смотрел влево, куда, набирая силу, прыгая с сугроба на сугроб, улетал бездорожно ветер.

Всадники, озираясь, молчали. Домбровский, прямой, будто пика, в узком пальто и островерхой шапке, с острой бороденкой и заиндевевшими очками, закашлялся, как залаял, прикрываясь мятым платком. Ветер воткнул в снег красный, точно маковый цвет, плевок.

Аверин, литой и сизый, спросил, будто молотком прошёлся по накопавальне гулкой груди, распирающей ношенную до глянца шинель:

— Что, поворачивать надо?

Прозоров встал на стременах, поверх голов глядываясь — все ли подтянулись к развилке. Люди и кони смутно чернели сквозь седые космы пурги. Ветер оживил снега, заколыхал, стронул с места — словно белое рядно поволок — и тоскливо, будто в пустую промерзшую кость, засвистел-завыл волчью сиротскую песню.

— Напрямки пойдём, целиной — к реке, — басок Прозорова полёр из оледеневшей бороды против ветра, как пароход против течения. — И дальше, берегом — в Кудеяровку. Следы завьюжит, тоды нас ищи-свищи. К ночи надёжно схоронимся.

— Не потерять бы кого в этой метели! — сипло крикнул Домбровский.

— Володьку Говорова с Салаватом взад поставим. Присмотрят.

— Понятная ситуация! — отозвался Аверин, поднимая воротник шинели. — Веди, Прозоров.

Конь Прозорова нехотя, словно в воду, ступил на целину и тут же провалился по брюхо. Заржал, оглядываясь, но, мотнув плещущейся гривой, подчинился крутой руке, пошёл вперед, шумя ноздрями, высоко выдерживая из снега тонкие ноги.

Метель, сатанея от дикой свободы, летела над степью с хохотом и воем.

2.

Ох, правда это: хуже нет — ждать или догонять. Лежит Арсений Серяков на железной дочерней кровати, неудобно ему, и на душе — грузная чернота, и ждёт, когда утомонятся, заснут незваные гости... И хорошо бы сейчас, с вечера, подремать — всю ночь ведь придётся ему караулить часа заветного... Да нейдёт сон в голову, копошатся в ней мысли, как тараканы-прусаки, разгулялись в ней и страх, и злоба, и весь он сам не свой: родное тепло не греет, родное удушье чужим ненавистным духом провоняло. До сна ли тут, когда грызёт мерзкая знобкая тоска от бессилья своего нынешнего и грядущего?

Жена вон в тёмном углу на коленях стоит, молится, то на икону, тонкими свечками трепетно озарённую, смотрит, то истово и часто крестится, то плоско кланяется прямой чёрной спиной.

Дурак на скамейке сидит, боком, ноги поджал, тоже рукой машет — да не той, остолоп! — вроде крестится, мычит, косоротится, точно дразнится. А в глазах — страх. Страшный он нынче, шепутной, — уж не события ли чует? Они, эти дурные, блаженные — наперёд, как собаки, угадывают, если что случиться должно. Хотел Арсений подняться, помолиться — не смог: от страха, что ли, почечуй разыгрался, ноет, томит, — какая уж тут молитва. Да и мысли прыгают так и сяк, будто жизнь сорвалась, как телега, под гору, туда, откуда летит навстречу, вырастая в глазах, овражная смертная тень.

Думал, чаял Арсений Серяков, что обойдёт его беда стороной, а она и в самый дом ввалилась — на тебе! И его, хозяина, за дверь выставляет: знай-де своё место при новых порядках. И заковылял он по собственному дому лакейской походочкой, и даже речь его, всегда по-хозяйски отрывистая, суетливой стала, искательной — аж во рту мерзостно.

А что, что поделаешь? Один гость топает — плечи развёл, грудь вперёд вынес — сторонись, сила прёт. И скажи, порода какая — ровно из стали отлит. Сизый, твёрдый, с лица вроде даже окалину напильником не ободрали. И голосом, как железом об железо, вызванивает. Страшно! Об таких-то и шашки, наверное, ломаются... Да нешто их и взять-то нечем? Нешто на них заговору нет, слова божьего?

И второй, в очках который, — в чём душа держится, а тоже — с лица жестяной, стоит, не падает. И командует, стерва: «Богатый, — говорит, — хозяин. У него и остановимся». А кадык так и ходит вверх-вниз по тощей шее. Эх, давнуть бы ему на этот кадык — да так, чтобы горло хрустнуло и переломилось...

Ты скажи, какое наше богатство? Ну — дом, ладом поставлен, под железом, о двух половинах. Ну, садик с сиренью и другой природой, ну, забор высокий от дурного глаза... и всё! А сколько слов в это добро вложено — это известно вам, господа хорошие?

Дед надрывался, только сушёный снег вместо соли не пробовал... Сам Арсений, почитай, праздников в своей жизни не видел — это что, псу под хвост, в расчёт не возьмём, скостим да шапочку по-холоуйски скинем?

Ворочается Арсений, всё места ищет, чтобы боль поутихла, а заодно и утешение какое-нибудь пришло, да где там! Ни в голове, ни в душе — ничего твёрдого. Мысли в потёмках плутают, все стёжки перепутали. В одной точке затеплится гнилушкой во тьме надежда, в другой — ещё непрогляднее, и вроде холодком сыроватым оттуда, как из бездны, тянет...

И вечерять не стал Арсений Серяков — где там! При чужих-то кусок в глотку не протолкнёшь — рвотно. Только и похлебал чаю с изюмом, командиров дразнить и Бога в постный день сахаром гневить не стал, в сахаре-то кровь Христова, а Бог — вон он с иконы-то зыркает — Бог по этому остудному времени последнее упование. Может и впрямь, кто Бога чтит, того и Бог любит? Верой одной только и можно это лихолетье выстоять и к старому — к порядку, к власти надёжной вернуться.

Стемнело рано, по-зимнему. Залегла в доме нудная тишина. Гостей не слышно — никак уснули? Дурак тоже присмирел, голову в плечи вдавил, глазами лупает, темноту углов роет, тоже о чём-то своём думает: кожа на льсом лбе, как кора на огне, коробится.

А жена молится безотрывно, кладёт и кладёт поклоны. Плещется в сумраке под образами её истовый шёпот, и всё настойчивее и заметнее ведёт за собой мысли Арсений, нагибая их — как траву под ветром — все в одну сторону... Жена у Арсения Серякова такая, ровно и не поповна, никакой важности в ней нет, молчит да молится. Живёт тенью бессловесной, молча сносит ласки хозяина, беззвучно дело домашнее справляет и рождает без стонов, только слёзы стоят в синих глазницах, да поскрипывают зубы за узкой чёрной полоской изгрызанных губ, молча младенцев своих хоронит — кроме первых, Яшки да Анисьи, все, как один, мрут... А в вере с каждым годом укрепляется — хорошо это, через её благочестие молва о доме Серяковых другая идёт, даром, что ли, говорят: муж за жену не умолит, а жена за мужа — кого хошь уговорит, хоть господа, хоть супостата.

Только хочется нынче, чтоб не к матери божьей свою страсть обратила, а прямо к самому богу. Дело-то слишком серьёзное, тут крепкая рука нужна, мужская. А что та же мать Божья? Баба — она баба и есть. Вон она какая — дородная да розовая, а кожа атласистая, сдобная, с ямочками. И плечи круглые, ласковые. У таких-то что на уме? Об одном только и мечтают сладким своим нутром. Вон, и брови насурмила, точь-в-точь, как Анисья. С ленцой бровь приподняла и смотрит, выставив губы, в плоское, с золотой каймой лицо младенца, точно дует на него, как на блюде с горячим чаем.

Нет, сейчас всё нужно к одному обращать, к Господу. Вот он, в правом углу — глаза голубые выкатил, на царя похож, одно слово — хозяин. Такому и руку поднимать не надо — взглядом не хуже, чем плёткой, отстегает. И нельзя иначе, в христианской строгости всему спасенье...

Лежит Серяков неловко и тоже лоб в сапожную складку вгоняет знобками своими думами. Смотрит всоцур на всю прошлую жизнь и горькому диву даётся: будто нарочно велось дело к разброду и разору. Вот хоть тестя — попа того же взять. Нешто это пастырь для народа-прихода? Одно на уме: брюхо жратвой набить да вином доверху залить. Нос синюшный, а бородой, бородищей зарос, как грехом, — от бровей до пупка, так что и слова-то в волосьях застревают, только скреб и пылил бородой, как веником, и проповеди растрепанные выходили — ни складу, ни ладу. А под конец и вовсе скоромно получалось: из святого писа-

ния те стихи выбирал, где о пище и вине глаголется, и к ним толкования свои присовокуплял, слюной истекая и даваясь...

Да кто же попереёк говорит — жри, пей, охальничай, на то — деньги, на то — власть. Но ведь и дело разумеи. Помни: ветром — море качает, молвою — народ. Помни: глас народный — глас божий. И не только глас. Око народное — божье око, недрёмное. Кто тебе в душе чего указывает? Никто. Кто в мыслях твоих руководит? Обратно никто, кроме тебя самого. Не там, не во внутренности своей греха бойся, в тех потёмках и Бог не видит, а вот то — грех, которого спрятать не сумел, который на языки досужливые попал. Тот — беда, тот — напасть, всему твоему роду-племени позор... А ведь грех — он со спасением рядом, только сумей его от людской молвы скрыть. Вот он, дурак, сидит — ширинку распустил, как сарацин-язычник. Грех! А понять того не может, что застегнись — вот оно и спасение твоё. С дурака чего взять, какое его имущество? А вот когда во власти состоящие этого не понимают — жди беды. И опять же далеко ходить не надо, деда Серякова возьми для примера. Всего Бог дал, не обидел. И силёнка — в праздники, бывало, быков крутолобых валил кулаком, как пудовым кистенём. И ума — одной памяти у него на целый сенат хватило бы. И удачливости — деньги нюхом чуял, шёл за ними, как борзая по следу. Громадные дела вершить мог мужичище: и пароходы по великим рекам российским гонять, и корявыми своими пальцами нутро земли вывернуть, вытряхнуть из него все её угли-золотники и, озоруя, графьёв просадившихся в лакеях содержать... Ан нет, только подниматься начал, а уж и сверзился, да так, что шею сломал. А почему? Меры не знал и не чувствовал. Ни в большом, ни в малом. Возьми простое дело: как жену бить. Все бьют, и бей, не возбраняется. Так ведь он до чего изощрился: заставлял её языком кровь свою с пола слизывать. Да и при людях. Какого же тут мнения, какого почета можно ждать? Не в том дело, бить или не бить — хоть убей, да так, чтобы это на языки не попало, чтобы имя твоё зря не трепали. Имя — оно и прибыток к капиталу, и разорительный убыток, оно может и хорошим процентом быть, а может и по миру пустить... Вот он сам, Арсений, — он свою первую тоже на руках не носил, в шелках не лелеял. Взял её в хозяйство, как лошадь, и век ей лошадиный определил, драг с неё три шкуры. И умерла она тихо и спокойно, в овраге под деревцем. Поговорили малость, что-де руки на себя наложила, только никто этому не поверил. Батюшка и слова не сказал вперекор, отпелал весело, слюняво, учуял богатые поминки... Арсений, не баляя при жизни покойницу, для стола поминального раскошелился, угодить батюшке хотел, имея в виду к дочке его вскорости посвататься... Да серяковское беспощадство надо уметь и припрятать до поры. Но вокруг оглядишься — одно огорчение. Вот Яшка, сын, в старика пошёл. Не умом — кабы дал Бог! — характером беспощадным да породой кобелиной... Жену ему подобрал — лучше не придумаешь: круглая сирота, самой — семнадцать лет и брату — четырнадцать. Это же два работника даровых! Нет ума для оборота, коммерции — бери работников, ставь хозяйство, не жалей ни рук, ни спин ихних. А он? Наташку-жену забил до того, что испортил — задумываться начала. Володька, брат её, с топором не него полез, а потом и вовсе из дому сошёл...

Э-э, думать про это — одно расстройство... Яшка — дурень, но дед, дед! Как он удачей своей распорядился? На глупостях мелких соскальзывался, как на корках арбузных, пока башку себе не размозжил... Человека проучить, к примеру, не мог внезапно. На деда Говорова, пустившего про него ядовитую частушку-нескладушку, собак своих, волкодавов, натравил. Опять же — суд, взятки, подрыв делу... Арсений — тот в подобном случае совсем иначе поступил. Отец Наташки его тоже крепко допёк — они, Говоровы, — скоморохи, на язык острые, на оселке его правят. Арсений отвечать не торопился, а случай представился — не упустил. И случай-то смешной: в трактире их судьба столкнула — запил

шутейник, имел грех по этой части. А тут — цыгане. Арсений и смекнул... и эдак с подковыркой говорит Говорову: перепляши, дескать, во-он того, молодого, в огневой сатинетовой рубашечке, с кудерком чёрным на башке. Этого цыганёнка сама нечистая по воздуху носила — здоров плясать бы! — а Арсений ещё и красненькую на кон бросил. Однако Говоров переплясал молодого-то, на гордости одной пересилил, тот вприсядку пошёл — ноги и разъехались, плюхнулся на задницу, да так и остался, чуб на грудь свесил. А Говоров — ему уже в то время, видать, худо сделалось — тоже еле к столу дошел: белый, как мел, однако не качается, а на лице — наискось — улыбка. Ну, Арсений мигнул половому — тот, как было условлено, кружку квасу ледяного — победителю... а потом и на двор, на мороз помог ему выйти, просвежить его, да и подержал там плясуна маленько... Через трое суток сторел скоморох, как и не было... Голос его с хрипотцой был — занозистый. А — смолк.

Так делать надо... И что тут скажешь — из-за дедовой нерассудливости пришлось Арсению Серякову всё сначала начинать, с самого с ничего. Вот так оно, у русских-то богатеев, — беспутства в них много. Не могут денежки свои сохранить, да передать их наследнику, как то заморские немцы делают. Не могут не распустить ширинку при всем народе, чтобы все-то от них отвернулись, наплевав в их заглазничник... Много своевольства в грехе себе дозволяют, куражатся им, на манер доблести. Они, иноземцы, что ль, не грешат? Да как ведь — умеючи делают. И дочек своих брюхатят, и сестрам юбки мнут, и всё шито-крыто. А дед? Ну, был грех с дочерью, ну побаловался с ней — так ведь не век же? Выдал замуж — и шабаш. Так нет! Ему-де одному в большом доме жить не хочется, пушай молодые с ним поживут. Ну, конечно, до зятя — сначала слухи, а потом и сам догадываться стал. Ещё первого-то сына, Арсения, признавал за своего, а уж как вторично жена забрюхатела — совсем как дурной стал... А дед и тут свою натуру не сдержал. Напоил зятя в городе, а потом пьяного его из саней и вытолкнул, волкам на поживу, — сам, дескать, выкатился. А кучер-то всё видел... Вот когда дела у деда и вовсе повихнулись. Бельгиец вперёд его забежал, а дед после того и вовсе к разору покатился. Зачастил на охоту, да всё пьяным ездил, даже ружьё забывал свое двустольное, а заместо него под шубой штоф водки нежил и кусок пирога с рыбой. В ту пору у дочери дурак и родился. Ума не хватило прямо повернуться — боком пёр, пока мать не угробил. Да и самого его зря вытаскивали. Пока вытянули — щипцами всю голову ему изжевали, вон она у него какая мятая, все мозги набекрень...

Эх, кабы Арсению хоть десятую долю того, чем дед ворочал! Уж он бы не стал крохоборствовать, разве он не знает, как дело ставится и как человек делом славится? Уж он бы не растряс мошну, он бы её вдесятеро умножил, и никто вокруг не пикнул бы, тут линию надо чувствовать: где кулаком, где калачом... Уж Арсений-то себя знает, он с грехом душа в душу живёт, попробуй осуди его — себе дорожке выйдет. Что, у него соблазнов нет, или он в святые целится? Да ни в жисть! Взять баб — и он до них сластеня немалый. Известное мужицкое дело: голубь за голубкой, сапоги за юбкой. Но грех припрятать сумеи, а не можешь — и такое случается — отступись.

Вон она, Анисья. Глаза — иконные, с поволокой, а — непутные, приманчивые. Белошейная и грудастая, как гусыня, и жаркотелая, поди, а уж нравная — чёрту на семя выросла... Арсений небось не раз поглядывал на неё, мучаясь блудливой щекоткой в чреслах, да ведь такую грозой не переломишь и богом не смиришь — глаза бесстыжие, давно уж образа порастеряли, такой палец сунь — без руки останешься...

Ах, как оно, время-то перевернулось! Сколько лет ждал своего часа Арсений, готовился к нему, как к великому празднику своей жизни, присматривался, примеривался, чтобы не прогадать, не оплошать, чтобы в одночасье, хозяйственной рукой схватить, круто повернуть к себе удачу — и вот те, бабка, юркни за дверь...

Мечтал — в силу войдёт, ему — почёт, ему — мёд течет, да не по-гаданному выходит. Да где же она, пространный богатая жизнь? Весь свой век тянулся к ней, а время возьми и опрокинь всё сооружение. Ведь вот оно, житьё желанное, уже рядышком было, Арсений уже и руки раскрыл, готовый его в охапку принять, ан — на тебе, из рук дерут, анафемы: отдай им всё свое, с кровью оторви — за здорово живёшь! Одной пары лаковых сапог бутылками не успел сносить Арсений Серяков. Неужто всей жизни шабаш?

Раздразнили голодранцев, остервенили их насильственной глупостью своей да охальными безобразиями, а теперь что локоть кусать? Теперь они сильнейшие — в согласной своей ненависти к тем, у кого деньжата водятся....

И такое горе почувствовал вдруг Арсений, аж застонал...

Дурак услышал, суетливо глазами косыми заморгал, а страх у помещанного в глазах пляшет — беду дурак чувствует, беда и в его башку костяным пальцем стучит.

И с горестной тоской, от которой всё нутро разворачивает, будто крот сквозь кишки прогрызается, думает, думает Арсений Серяков, как же поймать, как осадить сбесившуюся тройку, отвести её от смертной черноты оврага.

Сейчас любому золотому погону в пояс бы поклонился, атаманше-сабле, розге-матушке ни молитвы, ни денег не жаль. Шашкой да плетью окрестить заново народ православный, страхом просветить его, страх — лучшее научение, всей премудрости начало... Отбить стадо обезумевшее от этих, которые народ на бунт кровавую столкнули! Ничего не жаль для святого дела Арсению — ни мошны, ни детей... Яшку, сынка, два раза от армии отводил, один раз Егора Прозорова, другой раз Грунькиного мужика заместо него наладил, — не поспешил на подарки, а в воинство Крутя, только прослышал о нём, сам послал, и коня не пожалел семитысячного. Чем тут охальничать, самогон глушить да бабам синяки на грудях заячьей своей губой оставлять, пусть лучше делу святому послужит. Злобы-то в нем, исконной, серяковской, крепкой, мутной и вонючей, — как самогон, — поверх головы, аж брызжет.

А дочь, Анисья? Так и рвётся в драку, её ничем не устрашаешь. И хитра, ну хитра! Яшку-то, он намеренно ночью на разведку их Поречья приходил, где они с Крутем стоят, — Яшку-то к Наташке-жене не пустила. «Я сама, — говорит, — за ней присмотрю, всё тебе доложу, а ты пойдешь — бить её зачнешь, шуму наделаешь. Бабы услышат — поймут: был. На весь свет разнесут... А время, подаи, военное...»

И ведь как в воду глядела. Только Яшку утром проводили, а к вечеру — вот они, гости незваные. И опять же Анисья смекнула: одевается, будто к брату ночевать собралась, подальше от греха... Только двухстволку прихватила, да жёлтого волкодава с собой взяла, и засветло — даже метель ещё не улеглась — в Поречье... К утру должны быть. К утру... Такое, значит, предприятие. Хотел Арсений свою и детей дороги развести — им на перевал, себе — в обход, ан не получается. И в его доме кровь прольётся. Хорошо, что не у него одного — на случай чего... Да и полы у него в доме крашенные... Хоть и наследят — дурак всё ототрёт, отмоет.

...И тут привиделся ему странный, чудной и жуткий сон. Будто стоит он на самой середине площади, лицом к церквушке Кудеяровской, и глядит на непостижимое зрелище: изо всех её окон летят и летят чёрные вороны, летят, точно сажа от огня, и над площадью в чёрную стаю сбиваются и солнце застыт. Пусто на площади, тихо и дымом не пахнет. Стоит Арсений Серяков посреди площади один, а из окон церквушки, как из чёрных глазниц пустой головы, летят и летят чёрные вороны, и нет этому конца. И вырастает тучка в тучу чёрную и всё ниже и ниже к земле спускается; жутко Арсению Серякову, что тихая она, эта туча, хоть и мечутся в ней птицы. А тут полетели, закружились, затрепыхались чёрные крылья прямо у лица Серякова — и опять жутко: никакого ветерка

от них. Тогда, похолодев, разглядел он, что и не птицы это вовсе, а чёрные, словно из угля, листы сторублевки. Поймал он одну — так и есть, «катенька», и рамочка овальная с императрицей, и орел двухголовый, когтистый, с короной промеж голов... И чуть пошевелил Арсений Серяков пальцами, а уж лист и рассыпался, в прах обратился. И так жутко стало Арсению, что прямо окоченел он весь и вроде бы в уме повредился. Стал он те листы горелые ловить, словно никак поверить не мог, что от легчайшего дуновения они в пепел рассыпаются. Хватает их, мечется. Как чумной, а вокруг него пепел словно чёрным снегом сыплется и сыплется и землю покрывает всё выше и выше... Оттого всё смешалось в глазах Арсения Серякова — чёрное небо и чёрная земля... Очнулся он тут холоднее льда и никак не уразумет со страху: правда, али марево какое? Глаза выпучил, трёт кулаками, а в глазах какая-то болотная зелень ходит, колышется, — ну, ровно, как угорел или грибами отравился. И вот чудно: всё вокруг — жена с косыми поклонами, дурак, ошалевший от предчувствий, чужаки в доме — всё кажется небывальщиной, сном. А сон — ведь сон это был? — яснее ясного, яснее яви привиделся, Вот уж истинно: убоюсь страха своего ночного, как стрелы, летящей в дни.

И с чего бы ему бумажки горелые померещились? Кто же это по нынешним-то временам будет ими заниматься? Арсений достояние своё — какое-никакое — в золотишко обратил, золотишко — оно при любой погоде не портится и не тускнеет... Перекрестился Арсений Серяков, чтобы отогнать наваждение, молитву наспех прошептал, а сам никак о золотишке своём не успокоится. И ведь надёжно спрятано, да не в одном месте, в подклети возле каждой из четырех сторон глубоко зарыл и землю утоптал хорошенько, чтобы не видно было, что копана, никто не знает — ни жена, ни, тем паче, дети, их-то Арсений как раз и боится более всего: бессовестные они, только и думают, как бы деньгой отцовой поживиться.

Арсений шумно вздохнул — так, что даже дурак вскинулся — и, разом вспомнив и обеспокоившись о деле своём, полез с кровати, вдел ноги в валенки, тулуп напялил, шапку нахлобучил... Костыль, с которым при чужаках ковылял, чтобы пожалостливее казаться, сейчас не взял, стук от него — помеха. Тихо подошёл к двери, легонько толкнул её — отворилась беззвучно, хорошо петли смазаны гусяным салом, — прислушался: тишина... Осторожно ступнул за порог.

Темно, за дверью горницы — храп. «Ишь ты, — с удивлением подумалось Арсению, — и выхрапывает-то со звоном». Он сразу признал авринское дыханье, звонко взлетающее над тяжелым, больным, — словно раздираемый крапивный мешок, — трудным дыханием Домбровского. «Ишь, гад, — зло подумал Серяков, — к Петьке Прозорову не пошёл — дескать, дети там. А здесь, значит, можно сразу разводиться, людей травить. Ужо вам головы пооткручивают — враз от всех хворостев вылечат...»

Еще постоял у двери Арсений, послушал — спят хорошо, крепко. Да и чего им не спать — вшей прожарили, сами пропарились, хозяйскими харчами угостились — вот и спят. Дрыхнут без опаски. Арсений это до точности знает, своими ушами слышал — даром, что ли, глухим прикинулся, зато и подстергёт ненароком брошенные слова:

— Сегодня — всё обойдётся. Метель ещё не улеглась, а дело к ночи. Караулы к околицам отрядили. Смену назначили. Завтра с утра наладим разведку в это... в Поречье...

Отклеился, наконец, Серяков от двери, осторожной ощупкой поковылял к выходу, вздрагивая при каждом писке половицы, думая об Анисье — успеют ли к утру в обрат, непременно до утра надо успеть, тогда ни один живым не уйдёт.

На заднем крыльце постоял Арсений, прислушиваясь и присматриваясь — не дозорит ли кто во дворе? На всякий случай, если дозорит, — сойдя с крыльца, помочился рядом на снег... Собаки почуяли хозяина,

загремели цепями, гавкнули раз, другой — негромко. Испугался Арсений: ещё разбудят... Торопливо загнал кобелей в сарай, а снег — хоть и обмяли его гости вокруг избы — визжит на морозе, будто и не в валенках ноги, а в новых не разношенных сапогах.

Закрыв собак и долго стоял, прислушиваясь — что там, в доме... И такого накала ненависть в нём поднялась, что аж жилы на шее скрутила. Сплюнул — длинно, обильно, злоба-то у Серяковых, как у волков, — всегда на зубах пеной вскипает.

Потом, малость поуспокоившись, посмотрел вверх. Ветер скособочил тучи на край неба — высятся там чёрным бугром, а по другому краю звёзды зазеленели, как волчьи глаза. Пахнет в воздухе дымными щами, квасом, — крепкий изыяной дух: бабы стараться рады — подомовничали, суки, и не спят, небось, тешатся...

Осторожно поскрипывая, прошёл Арсений Серков к воротам, ещё покрутил туда-сюда опасливо головой и, затаив дыхание, бережно снял с ворот бревно-засов, потом маленько приоткрыл ворота и выглянул на площадь.

От звёздной наледи снег будто мерцает, и чёрными волнами тени на нём, а площадь — пустая и тихая. Церквушка смутно чернеет, словно поставленный наземь тёмный старинный шлем с крестом на макушке.

Вспомнил свой странный сон Арсений Серяков, и снова зябко ему сделалось и тоскливо. А тут — с креста сыч, давясь, дико проорал и словно колокол тронул — тихим, унывым, покойническим звоном отозвался. Колокол у них чуткий, тоже на старинный шлем похож... с Божьей головой, наверное.

Страшно сделалось Серякову, отпрянул он от ворот и, крадучись, мучаясь новым приступом почечуя, заковылял к дому.

3.

Да ты ли это, Наталья, Яшки Серякова законная жена, с косою растрёпанной, босая — в обнимку с чужаком ненавистным, да к тому ж татариним, в мужниной постели лежишь?

Ты ли это, Наталья, тень бессловесная, не то что головы — глаз от земли не поднимавшая — о лютой смерти мужа своего помышляешь и в лоб его, рыжим кудером заросший, в межглазье, в жилу ту, серяковскую, всего их племени мету, что вздувается плёткой-двухвосткой от злобной натуги — готова своими руками пулю свинцовую всадить?

Ты ли, Наталья, закоченевшая изнутри, от Яшкиных по-хозяйски глухих и бессовестных рук тело своё возненавидевшая, чуть не отрёкшаяся от него, как от наказания своего, самого обидного и стыдного, — лежишь, счастливая, обомлев от хмельного дурмана, оглохнув от ударов горячей крови, распиравшей виски, и такой теплынь-жарой вся-то досыта разогретая, что в глазах — малиновый дым, и в ушах — малиновый звон, и ноздри, жадно вздрагивая, тянут пьяный малиновый дух...

Вот оно, значит, какое чудо это, наваждение это — медовая жёлтая заря и звонкий томительный полдень, пьяный пожар заката и песенный, с замиранием сердца, взлёт в высокую загустевшую синь, чтобы, глотнув её напоследок, уронить ресницы и, закусив губу, смаху скользнуть, исходя тихим стоном, в тёплую лунную зыбь горделивой усталости.

Салават заснул в один миг, откинувшись на спину, а у Натальи — праздничное ленивое бессонье, сил нет со лба смахнуть спутанный волос, и горят у неё на шее и на плечах Салаваткины поцелуи, и тело её, до звона пустое и лёгкое, льнёт к нему, твёрдому, тёплому — точно солнцем нагретый камень, а из выреза рубахи тычется набухшим соском Наталина грудь в чёрную родинку, что вздрагивает на блестящей смуглой коже прямо напротив сердца.

Наталья привстала, сняла нагар с зачадившего фитиля — стало светлее, — опять прилегла, подтянув пёстрое, в цветах, одеяло, покойной

матышки подарок, — смотрит на широкое скуластое лицо Салавата. Чёрные брови легли поперёк лица густой, длинной, как лук изогнутой чертой; губы и глаза в тени, крепко сомкнуты, еле заметная бахрома ресниц не дрогнет: глубокая, как степной колодезь, сон Салавата.

Всё в нём понятно теперь Наталье, до дна заглянула она в узкие его глаза, — оттого узкие, чтобы неповадно было каждому в них глазеть, корёжить досужим взором то, что на сердце и под сердцем хоронится.

Вот и сама она не сразу его узнала, не с первого взгляда, хотя и почувствовала что-то, беспокойство какое-то, похожее на дальний зов... Ворвались они в дом — впереди Володька, рука на сабле, за ним вплотную — татарин, боялся, видно, на шаг отстать, чтобы беды не случилось. Володька, едва сестру обняв, сразу рванулся: «Где Яшка? Где зверюга? Говорить с ним буду!» Наталья беспомощно развела руками: нету, уже четвертую неделю нету, уехал будто в город, да вот нет его и нет, и когда воротится — не сказывал... Володька обмяк, очень уж он этой встречи с Яшкой желал — старые у них счёты. Ну, а каково потом Наталье придётся — он подумал по-своему, просто: пригрожу ему, чтобы пальцем не смел трогать — под страхом смертного наказания. Только уж лучше бы он вовсе не касался этого, наболевшего в Натальиной судьбе. Да и при чужом-то человеке! Правда, лицо у татарина неподвижное, ровно идол каменный, остро посверкивающий на Наталью узкими глазами, да уж так не по себе ей, уж так-то горестно на душе, что и Володьке не рада, хоть и не видела его, почитай уж года два как. Ну, зверь Яшка, ну, лютует по-прежнему и даже хуже прежнего, так что же, слова Володькины ему теперь передать, чтобы он на ней, на Наталье, свой ответ расписал? Господи, тяжело-то как, и никакой, никакой надежки — самой крошечной! — вырваться из этого ада крошечного... А татарин всё не спускает глаз с Натальи, а о чём думает — разве поймешь по лицу его каменному, чего про себя кумекает — разве скажет его мучительный немигающий взгляд?

Нет, не получился при нём у Натальи разговор с братом, да и Володька присел на лавку, даже полушубка не сняв, и сразу вскочил:

— Идем, Салават, коня поставишь... Здесь ночевать будешь. Гостем у Натальи будешь.

— А ты? — спросила Наталья, хотя уже догадалась по нетерпению Володькину, что торопится он к Груне... к ней Наталья брата не ревнует, Груня хоть и не намного старше её, а Володьке вроде бы заместо матери стала... — Иди уж. Коня-то своего здесь оставь, я ему корма дам.

Володька — что с ним сделаешь! — замылся по-мальчишески:

— Да нет... Я верхом... Пуцай её пацан, Никитка, подивится... Да и Груня сама...

А в сенях обнял Володька сестру за плечи и пробурчал виновато:

— Уж ты прости, сестрица... Привык я там... Да и тошно мне тут — всё Яшкой проникнуто... А за Салавата — голову дам! Ему доверяй. В душе у него — песня.

Наталья провела ладонью по его смущенному лицу, с трудом сглотнула комок, подкативший к горлу:

— Завтра-то придёшь?

— Приду.

...Разбередил ты, Володька, все раны, аж слёзы подступили — и откуда они? Не плачет Наталья попусту, редко слезой лиходея своего порадуется, всё больше молча терпит пытки, с сухими горячими глазами... Стала на стол накрывать, а у самой руки трясутся, миски тарахтят, вот-вот выпрыгнут, из горшка чугунного щи расплескала... А этот-то, друг Володькин, молчит, как идол степной, глазами покалывает, и хочется Наталье этому камню с глазами всё горе своё поведать — так, как бывает, когда убежишь в степь от дома своего, душного, как сундук, от работы непосильной, и, упав в ковыль, прижмёшься щекой к тёплому ноздреватому камню, да и зальёшься горючей слезой, запричитаешь по-бабьи, выкладывая всё изболевшееся, как есть, по порядку.

Ах, Наталья, Наталья, ты как та лебедушка, что в ненастный осенний день отстала от стада лебединого да и пристала к стаду серых гусей. Щиплют они её, клюют, и кричит лебедушка из последних сил: «Не убивайте меня, серые гуси, не своею волей залетела к вам — занесло меня непогодю!» Только это — не гуси серые, а серые волки, выводок серяковский... Матушка-голубушка, как же могла ты дочку свою единственную своим благословением послать на лютую казнь?

Вспоминает Наталья мать в последний её час — обугленная хворостью, как головёшка, на которой двумя последними светляками тепятся угасающие глаза, истаявшие слезой, как льдинки, и голос её, шелестящий и срывающийся от смертной задышки.

— Иди... за Яшку... Жизнь устрой... Володьку поставь... Тебе стерпится... слоботится тебе...

Не ведала мать, какой подарок — плёточку витую с пулькой на конце — припас к свадьбе свекор Арсений Серяков для молодой Яшкиной жены. На той плёточке и осталось тело белое Наталино, румянец её девичий. Взошла распроклятая жизнь замужняя чернобылью — горькой польнью, расселилась, злодейка, по всему зелёному лужочку, забила место весёлое, хлебородное... Наталью-то до замужества жар-малиной звали, стройная и улыбчивая была, говорливая и забавливая, песельница и выдумщица — как все Говоровы, сколько помнят их, до прадеда и дальше. Только в доме мужнем — остуда одна, вот и закаменел задор её, как весёлый ручей от мороза.

Взялся было Яшка Серяков и брата меньшего к себе приучать, только подчинить Володьку трудно, он с виду мягкий, а сам — в отца, гордый и неуступчивый до излома. Как-то подступился к нему, свалил его кулаком Яшка да и сапогом прицелился в слабые Володькины ребра, а тот откатился в сторону — и как раз ему топор в руку подвернулся. Встал он с тем топором, весь белый, а глаза — бешеные, и молчит... Яшка тоже стих и отошёл. Но того случая не забыл, ждал, чтобы расквитаться за свой страх, и дождался

В базарный день дело было, в Поречье. Большое богатое село, о ту пору в нём всегда ярмарки устраивались, а тут, по военному времени — ярмарка не ярмарка. Но народ собрался. Правда, мужиков, молодых в особенности, совсем мало в толпе, оттого заметнее стали круглые да лоснящиеся, как блины, рожи богатых сынков и приказчиков, их примасленные волосы, их жадные вертучие глазки, наглее, громче горланили их самогоном шибяющие глотки.

И всё же в большом волнении брела в толпе вслед за красной александрийской рубахой мужа Наталья, что-то смутное, как сквозь слёзы, что-то тёплое и горестное подкатило под вздох, а в голове крутилась и крутилась — с шарманки возле райка подхваченная — глупенькая песня: «Братец миленький! Лебедь беленький! Пойди со мной в толпу нарядную, ты — с гусями и песнями, я — с ладонями, с перебоями!» Галдёж, базарная суматоха напомнили Наталье прежние ярмарки, которые любила она всей натурой своей говоровской. Ярмарки с цветной ситцевой метелью, шибяющей крепким потом и огуречным рассолом, с цыганской скрипкой, бубном и облезлым дурашливым медведем. С сердцем, замирающим на падающих в небо качелях, с качающим на шаткой земле головокруглением от хмельного полёта на сказочной золотогривой лошадке по стремительному, сливающемуся в глазах карусельному кругу. С яркой, рвущейся на ветру пестрой косыночкой и липким, обтаявшим пряником в запотевшей ладони...

И отец души не чаял в праздничном ярмарочном веселье. Где шум, где толпа, где музыка — уж он там. Гармонь у него в руках то в комок сожмётся, то размахнётся на сажень цветными мехами, точно птица райская из рук рвётся, бьётся крыльями своими мотыльковыми, а отец схватил её за крылья и не пускает, и шутками-частушками, как зерном жемчужным, сыплет, а то не выдержит и сам вслед за ней полетит по

кругу впрыскаду, словно гармонь на крыльях своих, красных с золотом, несёт его над землей.

Задумалась Наталья, замечталась и не заметила, как Володька от них в сторону подался. Там, в стороне — лавки рядком, и в одной книжки цветные, с картинками — «Еруслан Лазаревич», «Бова Королевич», «Битва русских с кабардинцами», «Солдат Яшка — красная рубашка», «Живой мертвец», а главное — карандаши, краски разные, бумага для рисования. Туда-то и потянуло Володьку. Он в ту пору пристрастился к рисованию, да так, что спасу нет — рисует на земле, на стенах, углём, синькой, гвоздём царапает. А тут на лотке лавочном краски увидел в коробке настоящие, разные и — много... Совсем ошалел парнишка, стоял, стоял, глазел, глазел, пока его лавочник гнать не начал: денег-то у Володьки не было, а у Яшки просить — заикнуться не успеешь... Уже было и отошел Володька, но вдруг обернулся, схватил те краски — всю коробку — и побежал. Лавочник заорал, бросился за ним. Яшка оглянулся и враз смекнул: схватил с воза жердину в руку толщиной — и туда же, за Володькой... Сначала отстали они от парнишки, шустрый он был, но, не подумавши, свернул в какой-то проход между возами — и сам в западню забежал, выхода оттуда нет: лавки да возы один к другому, он было под воз полез — отпихнули его, не разобравшись... Сжался он, как собачонок затравленный... Забили бы его, кабы в ту минуту не оказался там старик Прозоров Михаил. Он мешки Груне-солдатке помогал с воза снимать. Закричала Груня, он глянул — и в миг всё охватил умом. Топа катится изрядная, кто с чем — как на цыгана-конокрада. Старик схватил телегу за задок да вместе с остатными мешками и с Груней самой приподнял и поперёк прохода развернул. И сам перед нею встал, руки отряхивая.

Яшка, лотошник и другой торговый люд — рожки свекольные, потные, осатаневшие — к нему: пусти, старик, добром говорим. Он и слова не вымолвил, из Яшкиных рук выдернул жердь и — хрясть её об колено, а половинки под ноги ему швырнул — смекай, дескать, что к чему. А Груня с возу кричит: «Да сколько же они стоят, товары эти, за которые вы парнишку растоптать хотите?»

— Как — сколько? — напыжился лавочник. — Целый рупь, небось!

— Да на тебе этот рупь, отступишь ты от сироты, ирод!

Бросила ему Груня скомканную рублёвку, тот поднял, расправил её, пыль с райских разводов ладонью смахнул, сплюнул:

— Рупь — деньги!

И полез сквозь притихшую толпу.

Так и взяла Груня Володьку в тот день к себе, так он у неё и оставался, пока сама же его в город не собрала.

А Яшка с того дня и вовсе озверел. И так уж Наталья неулыбой стала, с лица вся краса сошла, глаза потускнели, слиняли от слёз, волосы увяли — горесть, она одного рака красит — а уж тут и вовсе не стала на люди казаться, чужих глаз зазорно: лицо вечно развитое, опухшее, с синяками... Уезжал — бил, чтобы до возвращения хватило, приезжал — бил вместо гостинца. Бил, отдуваясь, натугой лицо коверкая. Винным угаром смердя... Тогда-то и выкинула Наталья дитё, что зашевелилось было у неё под сердцем, будя непрошенные и горькие материнские надежонки. А когда схоронила на краю погоста в маленькой — с корытце — ямке уже в утробе избитого, изувеченного уродца, совсем замкнулась, замолкла, и стал временами ловить на себе Яшка странные, из темных глазниц немигающие глаза. Не мог он их переносить, не мог и отучить жену от этой новой привычки, даже отцу жаловался: «Спортилась баба моя в конец. Глядит — и не моргает».

Это всё и копилось в душе у Натальи, лежало лавиной отяжелевшего снега и дожидалось хлопка одного, тёплого солнечного луча, сердечного оклика, чтобы дрогнуть, шевельнуться, стронуться с места и — поехать, полететь, обрушиться, увлекая и сметаая всё на своем пути!.. И когда зашлась Наталья в отчаянных злых и судорожных рыданиях, ког-

да стукнулась между рук об стол лбом, цепляясь за край стола ломкими пальцами, — тогда осторожная теплая и твёрдая рука Салавата, тихие звуки его непривычных, несслыханных слов, странная их диковинная ласка и были тем самым, чего из последних сил не чаяла дожидаться Наталья, — горстью тёплых солнечных лучей в зябкой слёзной солёной тьме.

Он говорил тихими, как песнь ковыля, но высокими и просторными, как небо над степью, словами, и дали, незнакомые и слепительные, разметнулись и хлынули навстречу Наталье, звеня султанами малахитовых трав, ошалев от вольного, с дивной медовой горчинкой ветра.

И как притоптанная стеблиночка, вдавленная в след тяжёлого сапога, от слёз своих, как в чашу стекающих в тот след, от горячего ветра участвительных слов, — вздрагивая, поднималась и расправлялась Наталья всем своим сердцем, стомившимся в неволе, изнывшим и изоржавельным, душой заледенелой, никем не шелохнутой.

И говорил Салават:

«Орлы учатся летать против ветра, сильного духом бороться учат невзгоды. Твои слёзы — твоя победа. Твои слёзы — дождь, который освобождает небо от туч, открывая солнце».

И рвалось сердце Натальи вслед за этими словами, вслед за могучей уверенностью Салавата, рука которого согревала её всё ещё вздрагивающие плечи. И, узнавая на щеках своих забытый жар смутного румянца, невольно касалась Наталья широкой, как степь, груди Салавата, а на лице её, словно опасаясь довериться внезапно пробившемуся из-за туч солнцу, ёжились разучившиеся улыбаться губы.

И ещё говорил Салават:

«Кто поймёт путь крота под землей, рыбы — под водой, орла — под облаками? Где споткнётся скакун, попав копытом в нору крота, где плеснёт из воды рыба, где взмочет в поднебесье орёл? Кто объяснит тайный путь слов, родившихся в сердце, прорывших темноту, плеснувших в лицо и взмывших в песне?»

Тут-то и влетела в горницу Анисья, будто весь разговор за дверью слушала, ждала, когда соскользнёт платок с Натальиной головы, а Салават погладит её ладонью по волосам и низко наклонится к её лицу, чтобы в сумерках в глаза её получше взглядеться... Стала Анисья у двери, выкривив губы, испортив красивое лицо подлой усмешкой.

— Быстро же ты скурвилась, молода жена! — размашисто покачала головой Анисья, прикипая к Наталье и Салавату зелёными и едучими, как купорос, глазами. — Мужик с порога, баба уж подолами трясёт? Что ж, стели, б..., постель на двух — хорошая парочка, баран да ярочка. — И прошипела со змеиной угрозой: — Ну, погодь, брат приедет...

Плеснули кровью в лицо Наталье эти слова, но гордость тут же стёрла кровь, выбелив щёки гневным морозом. Медленно встала она со скамьи, приблизилась к Анисье, свернув набок подлый её взгляд, сказала тихие — громче самого громкого в своей жизни крика — слова:

— Добавь-ка и то, чего не увидишь: спала Наталья с командиром и ушла с ним в красный отряд. И пусть боится встречи с ней Яшка, как встречи со своей смертью. Отшатнулась Анисья и, оглядываясь, точно боясь, что ли, как бы не ударила её сзади Наталья, выскочила на крыльцо, потом — за ворота, всё с той же трусливой оглядкой убегая, будто не новость, а жар из печки в горстях неся, будто краденое за пазухой пряча.

Не торопясь, закрыла Наталья ворота на засов, заложила ставни, затворила сени. Тихо вошла в горницу. Салават в сумраке поднялся ей навстречу, осторожной ощупью нашёл ее, молча обнял за плечи.

...Наталья повернулась к Салавату, и снова грудь её слепо толкнулась в родинку, вздрагивающую от ударов его большого и сильного, как у степного джейрана, сердца.

От сладкой жары отбросил Салават одеяло, и по телу его читает, как по написанному, Наталья всю его жизнь. Вот ямки, как оспинки на коже, — их разъела моль, которую сгребал он лопатой на берегу солёного

озера... А вот, на запястье, рубцы от кандалов, которые надели на руки, отбросившие лопату... А вот начало рода его — родинка, как узелок, как завязь, как почка; о ней, засыпая, рассказывал Салават, и сейчас ещё звучит в ушах Натальи этот странный, на песню и на сказку похожий рассказ.

«Это был храбрейший из воинов каана, его стрела не знала расстояния, копьё — промаха, сабля — пощады, конь — погони, лицо — улыбки, а сердце — страха. Он мог, взявшись за два огромных колеса арбы, удержать их, даже если запрячь в неё трёх верблюдов и понукать их остриями копий. Он мог швырять те же камни, что швыряют военные машины через стены осаждённых городов. Грудь его была крепка, как степной тысячелетний камень, о который ломаются, высекая искры, мечи, под которыми живут скорпионы и роет свой ход гюрза, чьи ядовитые укусы могут свалить табун лошадей.

Он был так же предан каану, как тот — Смерти, чёрным крылом которой стала тьма его воинов, закрывшая половину неба. Кровью врагов повелителя поил он бешеного своего коня. Он целовал белый войлок у ног великого, обутых в украшенные золотом и изумрудами чувяки, сделанные знаменитыми мастерами растоптанного конницей Хоросана. Он целовал полу его расшитого шелками, золотом и драгоценными камнями халата, снятого с Алан-хана, который был сожжён вместе со своей столицей. Он целовал жёлтую руку повелителя, с перстнем, в который вправлен Шаб-Шираг, чудесный самоцвет, способный освещать темноту, взятый в сокровищнице сброшенного с минарета хакана Марокканского, прежде чем минарет и весь город сровняли с пустыней. Он целовал землю у порога шатра повелителя за безграничную его милость и щедрый подарок — десять лучших боевых коней, трёх молодых верблюдов и юную русинку с белой, как кора деревьев в их стране, кожей, светлыми, как колосья их хлебов, волосами и голубыми, как вода в их лесных ручьях, глазами.

Поистине, даже великий не может предвидеть последствия своего поступка!

Поистине, не предскажет этих последствий и тот, кто знает семь седьмых корана и прожил семь столетий!

Бездонна глубина глаз человеческих, и непостижима их тайна. Хуже гюрзы жалят голубые глаза русинок. Их светлые косы петлёй захлестываются на горле воина и душат его, и валят с ног, как аркан валит с ног кругорогих быков. И делаются слабыми и вялыми руки воина, как тетива лука, размокшего от дождя, и не может он бросить пленницу на ковер своего шатра, как хурджин с заморскими сладостями, а просит у неё ласки, точно сам он пленник её глаз и осажден копьями её ресниц.

Просит воин любви, обещает полонянке десять шуб из куниц и соболей, драгоценный гребень из слоновой кости, покрытый алмазами, рубинами и изумрудами, но льются голубые слезы из голубых глаз русинки, и опускается всё ниже её золотистая голова на белой и гибкой лебединой шее. Наверное, воин с черным от горя лицом убил бы свою белую пленницу, а потом убил бы ещё тысячу русинов и тысячу русинок, и тысячу их белоголовых детей, если бы отчаяние не подсказало ему предложить в подарок пленнице свою саблю из голубой, как лёд, таинственной дамасской стали, которая перерубает сабли противника, как хрупкий камыш. Задумалась юная русинка, а потом сказала:

— Если ты отдашь свою саблю — значит, ты никогда больше не поднимешь её ни против братьев моих, ни против всех, кого хочет на моей земле растоптать копытами своей конницы ваш повелитель, кого хочет он выкосить саблями своих воинов, выжечь огнями своих костров... Я возьму твой подарок и брошу его в самый глубокий колодец. Я стану твоей женой и подарю тебе сына. Чтобы не прервался твой род. Но обещай. Что для сына ты возьмешь няньку-русинку там, где взяли в плен меня, и ту, которая сама, по своей воле, захочет нянчить твоего ребенка.

Поцеловал землю у её босых ног воин — так, как целовал её у ног великого, обутых в тиснённые золотом чуваки.

Три раза по тридцать дней пролетели с того дня. И вот пришли ночью потуги к полонянке. Рожала она с такой мукой, как будто смерти себе выпрашивала, а та слышала её крики и ударила шестикрылой молнией в шатёр, где корчилась роженица, в тот миг, когда раздался в нём вопль младенца.

Горе и радость разделили сердце воина на две части — чёрную и белую. И он плакал от радости и грыз землю от горя. А младенец кричал и дергался. И искал материнскую грудь, и вспомнил воин, что обещал своей полонянке, когда просил её любви.

Всю ночь и ещё, и ещё день и ночь скакал он на своем быстроногом коне с сыном за плечами в тот край, откуда пригнали русских пленников, и в городе, разорённом огнем, на площади обратился к оставшимся в живых со своей просьбой, протягивая суровым и молчаливым женщинам синего от криков и голода ребенка.

Одна сказала:

— Когда ваши воины рубили наших детей, они говорили: тот сделает хорошо, кто не даст щенку вырасти собакой.

Другая сказала:

— Когда ваши воины уводили наших женщин, привязав их к седлам коней, они говорили: тот сделает хорошо, кто не даст расплодиться собакам.

Третья сказала:

— Моё сердце не может выдержать крика младенца. Я хочу взять его на руки, накормить и успокоить.

Она взяла на руки угасающее дитя, дала ему молока, покачала его, и оно затихло. И тогда, разглядев его, женщина воскликнула:

— А ребёночек-то мне — внучонок, и моих черев урывочек. Его матушка — моя родная дочь, на левой груди у неё была родинка, такая, как у меня. И вот она, эта родинка, — у младенчика! Один он у меня остался, хочу я с ним быть, чтобы не исчезло моё племя, чтобы род его никогда родину свою не забыл и меча на неё не поднял.

Отправились они с воином в степи, далеко-далеко от высокого шатра повелителя, от его быстрых гонцов и остроглазых соглядатаев, — туда, где белые вершины гор подпирают вечно голубое небо, туда, где мирные кочевники пасут овец и кобылиц, чтобы делать из их молока сыр и кумыс, пахнущий степной травой, возвращающий усталому бодрость, а старому молодость.

— Дед моих дедов — отец того мальчика, — заключил свой рассказ Салават. — Но идёт из рода в род наша метка — родинка на левой груди, и ею мы, словно узелком, с Россией и русской женщиной связаны... Ты, Наталья — родина моя, любви моей — родина...

Наталья задула огонь и в темноте прижалась к Салавату. Грудь её толкнулась в знакомый узелок, вздрагивающий от ударов сердца. Засыпала Наталья сладким и светлым сном, легко виделось ей озарённое надеждой будущее.

4 .

Натопила Груня снегу в чугунах, замочила мягкой водой Володькино исподнее, когда заснут — постирает. А пока устроилась чинить и штопать штаны его и сюртук — эту городскую одежду подарил ему учитель, у которого он жил, с которым вместе и к красным подался. Расположилась Груня у стола, лампу керосиновую зажгла, как на праздник. Чтобы светлее да веселее было — и ей сподручнее, и Володьке: он, как бывало, забрался с Никиткой на кровать и сказку перед сном рассказывает, да только на этот раз, ну, прямо как в райке, говорит и тут же Никитке рисунки даёт — карандаш у него так и елозит по листу бумажному —

то-то Никитка перед дружкойми хвастает будет, картинки показывать... Так это у Володьки ловко получается, что и самой-то Груне интересно послушать, чего это он дурашливым своим голосом сочиняет про село ихнее, про Кудеяровку, про то, как она на свет появилась и почему таким именем названа.

Бегаёт, поблескивая, иголка, подталкивает её наперсток, и тянет иголка нитку, сшивает края прорехи частым стежком. Шьёт и Володька свою сказку, складывает её из пёстрых кусочков, и вот какой она у него выходит...

«Давно это было. Объявился в наших краях разбойник по прозванию — Кудеяр. Говорили, с Волги он и ещё — внуком Разину Стеньке доводится.

Парень молодой, в крови — бодрость молодецкая, хмелинушка казачья. Собой — гожий, брови светлые, глаза — весёлые, прыткие, на бар — страх, на баб — тоску наводящие.

Стал он со своей дружиной пошалывать, усадьбами боярскими по ночам небо светить, добро их промеж крестьян делить. Господа за ним погоню наладили, а один из них — необыкновенный кровопивец — поклялся, что пожалует разбойнику хоромы высокие — два столба с перекладной и петлёй на верёвке.

Вот раз остановил Кудеяр на большой дороге карету, а в ней молодой воевода со своим французиком куафером к боярину-кровопивцу ехал, с боярином и с дочкой его знакомство свести, о супружестве условиться. Разбойники воеводу на сосне вздернули, а к боярину вместо него Кудеяр надумал явиться.

Надел он цветной наряд фряжский — пирюсеневый камзол, сафьянные сапожки, штаны атласные короткие с кружевами; француз ему бороду сбрил, кудри щипцами завил — в три ряда у молодца кудри завиваются, а четвертый ряд на плечи ложится. В таком виде Кудеяр к боярину и пожаловал.

Вводят его с почётом в господские хоромы. Хозяин к нему навстречу торопится, на скользком натёртом полу чуть не падает, принарядился для важного гостя, коричневый бархатный кафтан надел, шёлковым кушаком подпоясая. Дочка вслед за ним выступает — горделивая, несклончивая. Сарафанчик-раздуванчик-размаханчик на ней, синий с красным. Грудь приоткрыта белая, коса трубчатая, вокруг головы кольцами уложенная... А красна-то девка! Красоты её не можно рассказать, только можно на портрете срисовать...»

Никитка аж рот раскрыл — любитесь, Груня не выдержала, тоже на рисунок взглянула. Ай да Володька! Неужто и вправду где-то такую подсмотрел?

...порты Володькины Груня залатала, а вот с сюртуком беда: тесен он, видно, узок Володьке в плечах, в груди — под мышками по швам расползается, рукава от спинки отрываются. Раздаётся Володька с каждым днём, уехал-то почти уж мужиком, а воротился и того здоровее, под косяком дверным наклоняется, вымахал детинушка, как на дрожжах. Ему теперь, пожалуй, и мужнины вещи впору будут, муж-то крупным был — как построили их на станции в эшелон загонять, так он в самом первом ряду шёл.

Тут и надумала Груня одеть Володьку в мужнин пиджак, справлен он был к свадьбе, и потом берегла его для больших праздников или на тот редкий случай. Если дело выйдет в город поехать, а Груня ради таких событий принарядилась в лучшее своё платье — шёлковое, канареечное. И ещё — шаль на плечи набрасывала, хорошую, с золотистой узорчатой каймой и кистями.

Бросила Груня к сундуку пёстрый самодельный — из старого тряпья — коврик, опустила на колени, подняла крышку, обклеенную изнутри чайными да сахарными обёртками, и стала перебирать вдовье своё имущество — прошлое, память свою ворошить, хорошее и плохое, веселье и печаль с места на место перекаладывать.

Вот они, рубахи мужнины, нарядные, сатиновая, шёлковая, атласная. А вот панёва Грунина тёмно-малиновая, наборная, по подолу обшитая серебряным позументом... Господи, любовь ты моя перволетняя! Да была ли ты, или только приснилась — с бубенцами да лентами, с гирляндами бумажных цветов да на резвых, как ветер, конях?

И совсем уж было распечалилась Груня, да прислушалась к голосу Володькину — с какой-то тайной смутной тревогой и отодвинулась, отошла от всколыхнувшегося былья.

«...сажают гостя за дубовый стол, подносят ему кубок водки, чаем-кофеином поят и конфеты пододвигают — бери не хочу. А он — не дурак, дорогим платочком градетуровым обмахивается, с французом, хоть тот на ухо туговат, — по-французски, с хозяином — по-русски приятливые слова говорит:

— Случай, — говорит, — представился в Москву по дороге из Рима заехать. Купил вам два подарка: тестю будущему кумачовый вышитый синим узором носовичок, невесте — пять фунтов райских яблочек, китайки.

Ну, боярин и вовсе растаял: хоть сейчас готов за Кудеяра дочку отдать. Да и барышне молодой — на что спесивая! — приглянулся гость бравый да озороватый.

Видит такое Кудеяр и молвит:

— Желая я весточку родителю своему послать, чтобы тот через три дня прибыл сюда с людьми, гостинцами и подарками. Будем свадьбу играть.

— Слова хорошие, — одобряет боярин. — Только кто же так быстро письмо твоему отцу доставит?

— А у меня, — объясняет ему Кудеяр, — есть на такой случай голубь почтовый, сизый, мохноногенький. Привяжу я к его лапке записку, да и выпущу его на волю. Вот он за час и долетит к батюшке, прямо в палату влетит, на плечо к нему сядет, ещё и клювом по щеке пощекочет — дескать, пожалте письмецо от сыночка!

— Ну, когда так, — обрадовался боярин, — пиши скорее!

Берёт Кудеяр перышко лебединое да чернильницу серебряную с крышечкой и пишет грамотку своим дружкам-разбойничкам. Дескать, на третий день с утра пораньше приезжайте во двор к боярину с саблями да ружьями — устроим потеху. Привязывает он грамотку к лапке голубя шёлковой ниткой алой, а нитка алая — весть немалая, и выпускает голубя в небо.

Расправил голубь перышки правильные, полетел, да не в лес к разбойничкам, а к окошку горбатого Архипа, лукавого раба боярского. Этот-то хитрец Кудеяру сразу не поверил. К тому ж и подслушал, как тот с французом-то условился, что при людях будет сперва по-русски говорить, а потом вроде как по-французски куаферу бормотать. Так чтобы куафер бородёнкой тряс: мол, хоть и тут на ухо, а слышу и понимаю, ваше благородие, шибко хорошо у вас по-нашему выходит!

И догадался Архип этот Кудеярова голубя подменить на своего, в точности похожего. А когда записку Кудеярову перехватил, сразу с ней к своему господину заторопился.

Прибегает он к боярину, а тот хмурый по горнице взад-вперёд ходит, приговаривает:

— Эх, кто бы мне доложил, где Кудеяр-разбойник прячется, тому бы я много денег дал.

— А зачем же казну терять? — молвит лукавый раб, горбатый Архип. — Его можно и самому поймать. Воевода-то молодой, гость ваш любезный, жених дочери вашей, — и есть тот разбойник, боярин подложный, и кудри-то на плечи распустил — видать, ухо рваное прячет. — Боярин шею раздул, ногами затопал, а горбатый Архип ему записочку протягивает: читайте, мол, убеждайтесь глазами собственными, какие грамотки и кому ваш зятек будующий посылает.

Вскочил боярин, хотел сразу же Кудеяра схватить и казнить. Но одумался и по совету лукавого раба своего, горбатого Архипа, решил свех разбойников вместе с Кудеяром в засаде истребить. Сел он за стол и написал другую грамоту Кудеяровым молодцам, чтобы приехали утром третьего дня на свадьбу атаманову, да без оружия, да со всей казной, какую в лесу прячут.

Ту грамоту привязали они к лапке Кудеярова голубя ленточкой вальжной: лента вальжная — новость важная. И пустили голубя в небо. Отогнали от окошка Архипова — голубь над усадьбой круг сделал и в лес полетел.

А дочке своей боярин велел сказаться хворой и больше с Кудеяром не видаться. Загрустила она, недоброе почуяла. Утром третьего дня завет она тайно, через верную служанку, Кудеяра в свои покои, мол, добрый молодец, я вся — тебе, побывай ко мне.

Прокрался к ней Кудеяр, а в этот час на боярский двор въехали его товарищи — принаряженные, без оружия, с казной богатой, и песни поют. Только въехали, тут же лукавый раб ворота запер, а дружина господская стала в молодцев из ружей палить, стала их саблями сечь и пиками колоть. Сам же боярин со слугами ворвался в горницу, где Кудеяра поселил. Туда, сюда — нет атамана. Смекнул боярин, где его искать, бросился в покои к дочери.

А Кудеяр бежать собирается, с барышней молодой прощается, говорит ей:

— Верю я любви твоей и дарю тебе золотой перстень с дорогим алмазом, цена ему — девятьсот рублей. Пока я жив — и перстень цел. А умру — кольцо распаяется и камень выпадет.

Отвечает боярская дочь:

— Коль забудешь аль помрешь, не жить мне на белом свете. Часок мы с тобой побыли, а будто всю жизнь совыкались. Люблю я тебя больше отца с матерью, больше жизни самой...

Поцеловал её Кудеяр на прощанье — она так замертво на пол и опустилась. А он вышиб окно да и был таков. В поле свистнул, гикнул — тотчас к нему его конь прибежал, он у Кудеяра никогда в конюшне не стоял, в поле бегал, не конь был — буря степная могучая.

Вскочил Кудеяр на него, повернулся, рукой махнул, а боярин из окна выстрелил. И вошла пуля молодцу под левую грудь, сердцу под корень. Опустился он на шею коню, схватился рукой за гриву, а конь — не первой ему хозяина от пуль уносить — пустился вскачь по широкому полю...

...Ну, вот и убили, — горько вздохнула Груня. — Да нешто оставят в живых?.. Сначала заберут, потом завезут на чужую сторону, на чужую войну, а тут живи со страхом смертным в душе, жди вестей... Мужик-то её отсрочка полагалась, не должны были призывать, — куда там, найдёшь у них правду! Заменяли её благоверным рыжего Яшку Серякова. А как забрали — так и сразу на фронт. А там первой же пулей и прикончили, жену овдовили, дитё осиротили. Вот так она, война, всю жизнь изувечила. И кто её придумал? Кому она нужна? Да неужто никогда тому врагу, который её устраивает, не отольются все слезы, что пролили бабы, потерявшие мужиков, матери и отцы, потерявшие сынов своих, дети, отцов потерявшие?..

Примерила Груня на Володьку пиджак — хорош, только пуговицы надо маленько сдвинуть. Уложила всё, что вытянула из сундука, обратно, закрыла его — будто память свою горькую захлопнула — да и присела за стол дело доделать, Володьку дослушать.

«...Летит конь по высокой траве, вытянулся хвост по ветру, а Кудеяр шатается в седле, вот-вот с коня соскользнёт. А за ними — погоня. И впереди боярин с саблей в руке.

Достиг конь Кудеяра широкой реки. У самой воды на дыбы поднялся, храпит, косится на хозяина — что делать будем? Видит атаман неподлеку речных рыбаков, обращается к ним слабым голосом:

— Перевезите меня на другую сторону, добрые люди! Не забуду я вам этой помощи!

Отвечают ему речные рыбаки, лодчники-перевозчики:

— Голубчик наш, атаман большой! Мы ловим рыбу по рекам, а ты — по сухим берегам, по амбарам-хоромам. Мы заловим осетра, ты — белогривого коня, мы — сорок щук, ты — сорок шуб, мы забросим сеть в волну, ты — в господскую казну. А за эти-то дела прячут, знаешь, в кандалы, ни жены, ни детей не жалеючи. Ты прости нас, не поможем тебе, боярин за тобой гонится, того и гляди здесь объявится. Плыви уж как-нибудь на своём коне, авось и выплывеешь.

Вздыхнул Кудеяр конь и ступил в воду. Потом фыркнул и поплыл, прядая ушами. Сносит его течение, крутит в омутах, а он плывёт, только ушами поводит, брызги стряхивает и ноздрями фыркает, воду выплёвывает. Так и вытянул атамана на другую сторону реки, вытащил на крутой берег, на самую его верхушку. Сполз Кудеяр на траву, лицом серый, как глина в оползне, прижался ухом к земле, а она гудит — будто стонет, будто плачет.

Говорит атаман коню — другу верному:

— Ты скажи теперь в чистое поле, живи в степях-ковылях. И для того часа, когда позовет тебя новый хозяин так, как я тебя звал, для того дела, для какого ты мне служил. Носи его, береги его, от смерти спасай, как меня носил, берёг и спасал.

Уронил конь слезу в траву, тряхнул гривой, ударил копытами — и умчался в степь.

И в ту минуту на холм поднялся боярин и увидел Кудеяра. Спрыгнул боярин с коня, с саблей в руке к атаману подскочил — а тот лежит на малахитовой траве, а по ней алая кровь растекается.

Говорит Кудеяр последним голосом:

— Умираю от пули твоей, боярин, и прошу у тебя последней милости. Закопайте меня здесь, на крутом берегу, чтобы крест над могилой моей далеко виден был...

Боярин раздул шею, закричал в страшном гневе:

— Не видать тебе погребения христианского! Погибай, как собака, и пусть вороны глаза твои выклюют, пусть они косточки твои растащат!

Ничего не ответил Кудеяр, закрыл глаза, от смертной муки пыльные, и затих...

А молодая боярышня в ту пору места себе не находила. Уж она туда-сюда по палатам мечется, всё на перстень смотрит, чудится ей, что он распаивается, что камень в нём шатается... Вдруг слышит боярышня — под окном конь заржал, выглянула — а это Кудеяров друг гривой трясёт, копытами землю роет, словно боярышню зовёт. Выбежала она к нему, а он на колени опустился — в седло ей сеть предлагает. Вскочила боярышня в седло, не раздумывая, а конь только этого и ждал, полетел в степь, к реке, где хозяин его с жизнью прощался.

Прискакали они к широкой реке, наняла боярыня перевозчиков, повезли они её на другой берег. А она в лодке от борта к борту мечется, то на берег высокий глядит, то на перстень уставится. А камень в перстне уже еле-еле держится, вот-вот выпадет. Уж как она его пальчиками ни придерживала, а посередине реки, на самой стремнине, выкатился, как слеза, камень из перстня, сверкнул напоследок да и канул в речную водовёрть. Помутилось в глазах у боярышни, зашло у неё сердце, побелела она, похолодела, качнулась и за камнем вслед в волны опрокинулась.

Приняла её речная вода, прихорошила, косу русую расплела, опустила на самое глубокое дно — никакой сетью не достать — на мягкую постелюшку, на промьтый жёлтый песок. Лежит она там, как красавка-русалочка, будто дремлет, и течением ей волосок к волоску расчёсывает, а камень-алмаз обратно в перстне её голубым огоньком сквозь зелёную воду светит...»

— ...Ну-ка, Володя, покажи мне боярышню твою! — окликнула Груня.

Володька повернулся, протянул ей листок. Груня потянулась, достала рисунок, стала рассматривать его с каким-то глухим недовольством: уж очень жалостливо о ней Володька рассказывал... Барыня — она, конечно, и в горе красивая. А чего им не быть красивыми — работы нет, заботы не тяжкие. Вот и горе не горькое. Она вон в воду плюхнулась без всяких рассуждений. Легко помирать, когда детей нет, а если случится — вокруг отпрысков дюжина няней усердствует... А ты хлебни-ка вдовьего житья — какое оно. Умучайся им, изведись вдовьими слезами, от которых всё лицо съёживается, как от сока яблока-кислицы, поточи-ка слёзы всю ночь напролёт в подушку, состарься до срока... Да при этом — что слышит про себя молодая вдова? Одно лишь худое слово. Известно: про вдову только ленивый небылиц не наплетёт. За спиной-то её языки так и полощутся.

Пригрела Володьку-сироту, а он уже через год вверх потянулся, в плечах раздался... Ну и поползла брехня, что-де вдова себе муженька вынянчила, а он, Володька, ей, как Наталье, — за младшего брата, и Никитка к нему, как к старшему брату привязался... Хорошо, отправила она Володьку в город, конец сплетне положила. Проводила его Груня до самой околицы — Наталью-то зверина её из дому не выпустил... Постояла Груня, посмотрела, как увозит Володьку телега, — растерянного, с тощим узелком на коленях, с наказом перво-наперво школу найти и знающему учителю рисунки свои показать. И вот радость — вскорости весточка пришла от него. Повезло ему, сироте, и школу нашёл, и учитель душевный попался — уж так рисунками парнишки очаровался, что у себя приютил. Володька ему по хозяйству помощник, а он его в школу определил и в рисовальное училище готовит. Человек он одинокий, строгий, но шутки, байки, сказки разные, которых Володька от отца своего наслушался, с интересом принимает и сам много чего Володьке рассказывает про историю и про жизнь. Так что теперь Володька знает, какая она, правда, на чьей она стороне и как понимать зверюгу Яшку Серякова вместе со всеми его сородичами.

Тут Груня спохватилась, что, кажись, задумавшись, чего-то пропустила в рассказе Володькином, да и прислушалась к словам его, снова схватилась за их цепочку:

«... А рыбаки поднялись на высокий берег реки и видят: лежит Кудеяр на зелёной траве, кровь под ним загустела. Почернела, и ворон ему на лоб опустил, глаза его выклевать приготовился. Отогнали чёрную птицу рыбаки, схоронили атамана и крест над его могилой поставили. Стоял тот крест, видный отовсюду, и никто не забывал про разбойника Кудеяра, и следочек к его могиле не могла заплести шёлковая трава-мурава.

И вот как-то проезжает мимо того места боярин-кровопивец в коляске со слугой своим Архипом. Мрачный, лютый. Вдруг видит могилу Кудеяра с крестом на ней. Разгневался боярин, посылает раба Архипа горбатого:

— Вырви этот крест, а с ним вместе и память о Кудеяре-разбойнике!

Выскочил из коляски раб, побежал, ухватился за крест, шатал его туда, сюда, дергал... Умаялся и надорвался.

— Нету, — говорит, — сил моих, барин! Не могу я его своротить!

Заругался барин непотребно, сам выскочил, схватился за крест обеими руками, поднатужился, вроде бы до колен его вытянул... Ан нет, сам по колени в землю ушёл. Натужился к поясу крест подтянуть — по пояс в землю ушёл. Стал изо всех сил за крест цепляться, чтобы из земли выбраться, а вышло-то напротив: по самое горло в землю погрузился.

Так и остался боярин головой из земли торчать, и долго глазами хмурыми по земле шарил, пока не ослепли они от смертной муки, а потом ворон слетел ему на голову, на шапку чёрную бархатную, белым сободем отороченную, и глаза остекленевшие выклевал.

Вот такая молва о наших краях идет.

Долгое время опасалась люди на холм подниматься, пугались мертвой головы боярина, хотя уж давно свезли его на кладбище, на отдельный боярский погост. Это уж потом, когда поуспокоились, поставили на этом месте церквушку. А уж вокруг неё и домики стали расти. Вот так наше село на свет и народилось. А название ему по имени Кудеяра дали.

Тут и сказке конец, а кто дослушал — молодец!»

Володька рывком сел, свесив ноги, на кровати, зевнул, собрал рисунки, положил на лавку. Потянулся, ещё зевнул. Посетовал:

— Умаялся я с этим сказанием — не кончается и не кончается.

Никитка притих, о чём-то размышляя. Вдруг вскочил на колени.

— А как того звать, кто церковь нашу поставил?

— Так это же дед Михаил Прозоров... — Володька опять лёг на спину, вытянулся, поднял руку, вздохнул и без того кудлатую Никиткину голову. — Рассказывают, в одиночку управлялся.

— Ну и чего плетёшь? — прыснула смехом от неожиданности Груня. — Давным-давно церковь стоит. Небось, самого деда Михаила Прозорова в ней крестили!

— А я не про этого деда, не про нынешнего говорю, — выкрутился Володька. — Про его деда... в честь которого этого тоже Михаилом назвали.

Груня недоверчиво покачала головой:

— Ох, и горазды вы сочинять, Говоровы. Всё бы вам враки врать. На словах — как гуси на воде.

— А дальше-то, дальше-то что? — взмолился Никитка плаксивым голосом.

— Дальше? — сонно протянул Володька и остервенело потёр кулаками глаза. — Дальше, братишка, другой сказ... Про того, кто Кудеярова коня в вольной степи за гриву поймал... да заседлал его для нового дела.

— Ну и кто, кто коня-то поймал? — в отчаянии теребил Никитка неотвратимо засыпающего Володьку.

— Коня? — вздрогнув, вскинулся тот. И сонно выговорил: — А Сенька... Сенька Разин...

— Так ведь сам говорил, — Никитка толкнул Володьку в плечо, — казнили его!

— Ну и что... Он в каждом мужике жив...

— Никитка! — строго прикрикнула Груня. — А ну утомонись! Не видишь — заснул Володя. И ты спи! К стене отвернись и спи!

Однако Никитка ещё потолкала Володьку в плечо — убедиться, что сегодня сказке конец. Тогда только принял к нему, что-то шепча под нос. И тоже скоро заснул, вздрагивая временами, представляя, должно быть, себя спасающимся от погони атаманом.

«Ну вот и спят — и большой, и малый», — подумала Груня, подходя к кровати. Сейчас не оттого ли, что прижался Никитка к нему, показался Володька ей взрослым и незнакомым. Вспомнила она то странное девичье чувство, которое маковым пламенем опалило лицо, когда Володька пропел на пороге шуточную скоморошью присказку: «Ты пусти, молодая вдова! У тебя не год годовать, одну ночку ночевать, обсушить своё платьё, пожалуйть твоё житьё...» — шагнул к ней, крепко обнял за плечи и по-детски звонко чмокнул её в разгоревшуюся щёку. Еле удержала руки свои Груня, которые сами так и напряглись — обнять его окрепшую обветренную шею... И хорошо, что Никитка сбоку подпрыгивал, теребил Володьку, к себе тянул... А потом, за стол усаживаясь, заметил Володька на стене напротив окна, где свету побольше, рисунок свой, в другом письме присланный, где признавался Володька, что скучает по дому, ставшему для него своим, по Никитке и по ней, по Груне. Рисунок — её портрет, по памяти нарисованный. Оттого, наверное, получилась Груня какая-то немного на себя не похожая. Не то, чтобы моложе или красивее, а словно с загадкой или зазывом туманным в глазах, раскрывшихся будто для кого-то одного, кого ждёт с тайной несмелой надеждой... Всё же рисунок нравится Груне, и чем дальше — тем больше. Повесила она

его на стене в рамочке, иногда смотрит на него — и вроде бы легче становится на душе, а вместе с тем и тревожнее.

Вот и Володька остановил на нём взор и, не глядя на Груню, сказал негромко, раздумчиво: «А ведь чудно, что ты у меня такой получилась, а?»

...Лежит он, одной рукой Никитку приобняв, ресницы круглыми тенями легли в подглазьях, лицо доброе, усы с бородкой намечаются, а губы и во сне — будто вот-вот улыбнётся... Смотрит на него Груня — а какими глазами смотрит, самой со стороны глянуть бы... то, может быть, и признала бы, что рисунок Володькин на неё похож получше всякой фотографии.

5.

Скособочив чёрную бороду, пол-лица вдавив в пышную кипень подушки, спит Петр Прозоров, бросив тяжёлые руки так, словно гребёт в бурном водовороте. Сползло лоскутное одеяло с широченной, чуть не во всю кровать, спины, собралась жёсткой складкой холщовая исподняя рубаха.

Мать, посветив коптящей плошкой, потрескивающей конопляным маслом, подтянула одеяло, присела бочком на скамью у изголовья да призадумалась, предалась материнским своим горестным думам.

Насупленная бровь, борозда в углу рта, морщины, растопыренной пятерней протянувшиеся к виску, уже припорошенному редким снежком зазимка... Да неужто это Петруша, меньшей сын, самая любимая кровиночка? Господи, дай ему сон освежительный, омолаживающий... Давеча, когда из метели вынырнул — бородатый, задубелый и такой чужой, — не глазами, сердцем только и признала. А наладили ему баньку-парушу душистую, с кваском и веничком — десятка два годков с лица стер и даже улыбку припомнил свою довоенную.

Состарили сынов четыре годочка, состарило их злое лихо, служба царская, война государская... И надо же, только на порог дома родного ступил, а уж его назад во мглу и вихорь смертный тащит. Оттого мука на сердце матери, легла тоска, как горюч-камень, и чудится ей, что смерть в чистом поле рыщет, следы сынов её ищет, а то и вовсе возле дома кружит с косою: вот и под окном скрипнула, ставни тронула, на крыльце заскреблась, в чёрное небо провыла, и крик её знобкими мурашками по спине разбежался... Покрестилась старушка, страхи свои отгоняя, только они сильнее креста, совсем мыслями завладели, и куда ни глянет мать — всюду видит одно: жизнь сынов её на волоске держится, потому что каждый человек за другим охотится, словно такое его назначение — быть в руках смерти безжалостной косою.

Ожили мягкие старушечьи морщины, поползли к глазам, а навстречу им — слёзы, да и ушли в те морщины, как дождевики в растрескавшуюся, измученную землю. Хорошо, дед не видит, заворчал бы: «Опять мокредь разводишь?»

Ну, что бы остаться Петруше — уж сколько годов ему, а всё не женат. Да за него любую девку отдадут, вот и составили бы свою жизнь с молодой женой, и в работе, и в любви помощницей... на радость старикам в их сумерках закатных... И вспомнилось тут матери, как разрешалась она Петрушей. Так получилось — в поле родила она, ближе к вечеру. И когда лежала. Выжата болью, в блаженном бессилье, и смотрела в бесконечное густейшей синевы небо с беззвучными и медлительными облаками, а сбоку попискивал придвинутый к ней младенец, — то сквозь какой-то счастливый дым видела их, сынов своих будущих — больших и красивых, улыбочатых и тороватых — не то на площади, среди довольно-го ими народа, не то вдоль уличного рядка степенно идущих, провожаемых долгими взглядами принаряженных девок... А потом, зажмурившись, собрав силы, которые, оказывается, нашлись для того дела в её опустошённом теле, произвела мать первую после родов молитву, чтобы

сберегла судьба её сынов, и старшего, и меньшого, — от вихря смертного, и от невесёлой неволюшки, и от злого чужого умысла.

Сколько есть счастья на белом свете — всё оно в детях. Несёт мать в памяти своей из прошлых дней счастливые видения — нет им цены, они — украшение жизни и главная награда её.

Вот идут они втроем в поле, к отцу. И такая благодать кругом — в просторном небе на самом дне синего хрустального купола звенит серебряным звоном жаворонок, словно стучится в хрустальный свод... И дух от поля, взлохмаченного плугом, — густой, сытный, земляничный. Дорога мягкая, тёплой мучной пылью сдобренная, и по ней впереди скачет Егор верхом на прутике, а Петруша у неё на руках весело по сторонам таращится, отца голубыми глазёнками ищет... Легко на душе у матери, легко ей ступать молодыми крепкими ногами по тёплой дороге, а тут Егорка вернулся, просит меньшого братика понянчить, а сам-то всего на голову побольше его... Любил он Петра, любил детвору сызмальства, потом своими обзавелся, души в них не чаял. Но растут дети без отцова присмотра. Мишатка своевольничать стал, деда не боится — добрый, говорит; мамку не слушает — я, говорит, мужик; бабу передразнивает — очень уж она потешная, говорит... Отец ему нужен, а его всё нет и нет. И слухи о нём идут разные, нехорошие слухи, прислушалась бы — но страшно. Вот и Пётр что-то буркнул про Егора в ответ на расспросы, что сойтись им теперь на узкой дорожке... и не разойтись. И помрачнел, присунился, стал Мишаткины кудерьки ворошить.

Как же так? Одна мать, один отец, один дом, а сыновья — в разные стороны разошлись? Чует материнское сердце большое горе и не может понять, отчего не живётся человеку спокойно, непременно ему надо на своём поставить, и не жаль ему для того ни своей, ни чужой жизни... Господи, да неужто мало вокруг для людей радости? Небо лаковой сини — для всех, а любовь, а ребягня? Живут люди на одной земле, а разделила она их хуже пропасти, и миром им не сойтись, две воли в поле, чья сильнее — та и правее... А как бы это прекрасно было — народ замирить. В прежние-то времена, когда сойдутся стенка на стенку, круша друг дружку кулачищами, да хлынет кровь, да захрустят мужичьи кости, да начнут отползать, землю кровеня, разбитые в мякоть мужики — начинают вопить бабы, деда звать — Михаила Прозорова. Тот, бывало, любую кулачную войну разведёт: как вымахает один против прочих, как дуб против подлеска, разбросает ручищи, кого отсунет, кого попридержит, кого словом вразумит — так всех к порядку, глядишь, и приведёт. Даже прежний-то Серяков — на что зверь лютый был — а и тот перечить Михаилу Прозорову опасался.

Теперь не то, не та схватка. Тут руками народ не растолкаешь. Да и старик уж не тот, что прежде. Как повернул несколько годков назад телегу Грунину на ярмарке, так и сорвал что-то внутри... Поначалу крепился, да не окреп — сдался. Теперь больше лежит на тёплой печи, в железных очках, да книги святые изучает. Он и раньше к ним обращался и так их разумел, что батюшку не раз вопросами в смущение вводил. А нынче не расстаётся с ними, думает, а от дум этих силы-то его ещё скорее уходят, и тело его огромное, точно столетнее дерево, сохнет и сохнет, и запах от старика — не то опилками, не то гробом.

...Петр вдруг захлебнулся, стиснул руками подушку, сморщился, скрипнул зубами, застонал. Повернулся на бок, неловко заломив руку, потом опять метнулся — и стих. Подушка ссунулась, и что-то краем блеснуло из-под неё в мглистом чадном свете коптилки. Нагнулась мать, посветила плоской, осторожно тронула и потянула согревшееся в постели железо — вытащила тяжёлый наган. Чуть не выронила со страху: да что это такое — в родном доме сын с пушкой спит? Кого опасается? Кому не доверяет?

Перекрестилась мать, хотела обратно сунуть наган, да побоялась сына разбудить. Положила страшную вещь рядом на скамью, прикрыла пла-

точком, головой покачала со вздохом, слёзы углом косынки смахнула.

А тут старик на печи зашуршал, спать позвал, хватит над сыном слёзы точить, посмотри хоть одним глазом старуший свой сон. Задула мать плошку и, кряхтя, полезла к деду. Долго лежала на спине, помаленьку успокаиваясь. Метель, верно, улеглась — в трубе стихло. Холодно, поди, на дворе, мороз как с ноября бородой ко льду стекла примёрз, так и трещит под окном, не отходит. В прежние-то времена сидели, небось, по такой поре люди в тепле, не рыскали, как волки, по снежным полям друг за другом, ждали весну. А нынче дорога к весне долгая, трудная, извилистая и узкая, как волчий след.

И совсем уж уходя в чуткую дрёму, помолилась мать весне, чтобы пришла красная с великой радостью и щедрой милостью: с корнем глубоким, с хлебом высоким, с небом ясным и жизнью мирной, распрекрасной...

6.

К утру ветер стих, последние снежинки улеглись в белые стога, и воздух, звонкий от прозрачности, тишины и мороза, казалось, вот-вот схватится, как вода, сплошным, до самого дна, тёмным льдом и навек скуёт горстку занесённых снегом избушек, опутанных чёрной паутиной тропинок, протянувшихся к связавшему их узелку — крошечкой, с тёмным истовым ликом церквушке в белом — до самых бровей — снежным холодном платке.

Но вот не выдержавший ошеломительной тишины петух забился в отчаянном крике — сразу же вслед за первым петушиным воплем, как за первым камнем, полетело пригоршней гольшей в звонкий лёд тишины истощное петушиное многоголосье.

И вот теперь — словно тишина-то как раз и не впускала утро — оно, туманно розоватаясь от робости, но с каждым шагом всё увереннее, начинает подливать света в поддрагивающую студёнистую темноту. Как подливают, помешивая, к тёмному малиновому киселю белого молочка.

Оттого так сладок этот рассветный час, потому так вкусно чмокает губами дитё и сглатывает набежавшую слюну охочая до сахарку старушка, баба сонно тычется разгоревшимся лицом в плечо мужику, а тот, свесив с кровати набухшую жилами руку, всхрапывает так, точно с шумом втягивает через край глиняной кружки пузырячатую пенную брагу.

Загавкай в этот час собака, протопчи под окном тяжёлый сапог, грохни вдалеке случайный выстрел — перевернётся на другой бок человек, притихнет... И снова, вдвое против прежнего, словно упущенное навёрстывая, захрапит, засвистит, засопит.

...В этот час, сняв задремавших караульных, тихо вошёл с двух концов в Кудеяровку карательный отряд, усиленный присоединившимися к нему добровольцами — такими, как Яшка, богатенькими сынками.

7.

Не гадал, не думал Егор Прозоров, что в родной дом, который уж сколько лет во сне видел, — придёт, как тать, ночью, крадучись, с ружьём наготове, арестовывать своего младшего брата. И не пошёл бы он на такое подлеецкое дело ни за что, хоть и был уже весь в крови и совесть закоптил не хуже палача какого, и знал, чувствовал в лохмотьях изодранной душой, что никогда уже не сможет Мишатку своего погладить и потрепать по белым волосам, на колено верхом посадить, в небо подбросить, потому что окунись в глаза детские — и чернотой своей их чистоту изгадишь, да и руки-то, липкие от крови, не о детские же волосёнки вытирать... Но — пошёл за Петром сам, потому что чуял: живьём его не возьмут, стрельбу в доме, где ведь не один лишь Пётр, поднимут. А Егор шуметь не будет и, может статься, убежать брату даст.

Он первым достиг своего подворья. Собака признала его, поскуливая от радости, бросилась к нему. Егор затолкал её в конуру, закрыл. Потом, зло стирая с лица следы мокрого собачьего языка, оставив помощников своих на крыльце, осторожно поскрипывая снегом, подкрался к окну своей горницы, тихонько стукнул в ставню. Немного сгодя — ёще разок, и, зная чуткий сон, уверенный и в догадливости своей Дуни, вернулся на крыльцо.

Постояла, напряжённо прислушиваясь.

И вот в сенях жалостно пискнула дверь, и несонный, встревоженный и надеющийся голос спросил:

— Кто такой?

— Я это, — хрипло прошипел Егор в самую дверь. — Отворяй.

Стукнул засов, дверь пахнула знакомым запахом родного жилья, и Дуня, уже в слезах, повисла у Егора на шее.

— Егорушко-о!..

— Тише, да тише ты... — Он зажал ей рот вонючей рукавицей. — Погодь... Не один я... К тому ж по делу... А ну, пусти! — и выругался. Стряхнул её с себя и перевёл дух.

Она, ошеломлённая более всего этим ругательством — Прозоровы грязью рот не пачкали, — сжалась, умолкла, перепуганно оглядываясь на спутников Егора, хмуро дожидаящихся чего-то неладного, ужасного.

— Петка здесь? — воровато и зло спросил Егор.

— Тута... — шепнула Дуня, всё более дрожа не то от холода — азиям набросила прямо на рубаху, — не то от боязни. — Один он ... спит он...

— Поди разбуди... Скажи — из отряда пришли, не хотят дом поднимать. Пушай одевается и выходит. Так и скажи, поняла? Да ещё — чтобы пушкой не баловал... до греха недалече.

— Ой, да что же это станет, Егор...

— То будет, то и будет. Иди, ну! Вон — зуб на зуб не поставишь... Иди!

— Так ты и в дом не зайдёшь, что ли?

— Ну, дура баба... После, потом... Иди! — И тут же придержал её за рукав. — Ты... вот что. Не говори старикам и Мишатке — что был! Слышала? Ступай!

И опять матерно ругнувшись, втолкнул её в сени. Снова горестно скрипнула дверь, и всё замерло в ожидании.

...Едва Дуня тронула его за плечо, Пётр дернулся всем телом и резко боком сел, сбросив одеяло, сунув руку под подушку. Сна как не было: наган!.. Дунька? Зачем она тут?

А она из сумрака шептала мечуще и срываясь:

— За тобой... Егор... из отряда.

Он всё понял, стал одеваться, шаря руками в потёмках. Мать шёпотом спросила с печи:

— Что ты, Петруша?

— Спи, спи, — тихо велел ей Пётр. — Зовут меня. Дело.

Мать завозилась, зашуршала.

— Что ж в темноте?... Да ты воротись ли, Петенька?

— Само собой, — буркнул Пётр, натягивая полушубок. — Только погляжу, что там.

— А ты не один, что ли? Кто там... Дуня? Чего ты тут, Дуня?

— Да вышла я, стук услышала... — Голос у Дуни мокрый от слез.

Мать завозилась, закряхтела, слезая на пол.

— Свет засветите, говорю... Чего в темноте шебуршите?

— Ухожу уже. Прощайте... пока. — И Пётр, нащупав в сумраке вздрагивающее Дунино плечо, сжал его, шепнул: — Мать придержи, на крыльце не пускай. Наган верни.

— Чего? — она отшатнулась от него. — Чего ты? Не брала я, господь с тобой!

Он затворил за собой скорбно вскрикнувшую дверь, бухнул задубевшей дверью в сених.

С печки донесся голос деда Михаила:

— Ну, чего раскудахтались? Значит, надоть ему. Служба у него.

...На крыльце Петра сразу же с двух сторон подхватили под руки, заламывая их за спину. Он особо не сопротивлялся, только вертел головой, высматривая Егора. Но тот отошёл от крыльца и, мрачно нахмурясь, смотрел в сторону, словно узрел там, в редеющих белёсых сумраках, что-то ненавистное.

Один из помощников быстро обшарил Петра, и его, торопясь, повели к открытым воротам. Егор, сутулясь, пошёл вслед, затворил за собой ворота, и, стараясь не замечать, как по синей сумрачной улице уводят его брата, вскочил на коня и, закрыв глаза, бросив поводья, двинулся в другую сторону... В тишине отчаянно визжал снег под копытами.

И вдруг бухнул и раскатился выстрел. Егор вздрогнул, оглянулся.

Пётр, свалив конвоиров, бросился к забору, да оскользнулся, сбился с ноги, и тут выстрелил третий, что сзади шёл.

Пётр упал. Тут же конвоиры навалились на него чёрной шевелящейся кучей. От которой отлетали и снова с силой опускались руки. Потом куча распалась, подняв и поставив на ноги Петра. Он начал оседать, покачиваясь, и тут его снова подхватили, выкрутив руки за спину, и, подталкивая штыком, потащили к площади, к дому Серякова.

Тогда Егор хлестнул коня и, втянув голову в плечи, поскакал вдоль улицы вон из села, будто скрыться хотел от всего, что видел, и всего, что ещё должен был увидеть.

8.

Когда вслед за первым раскатистым выстрелом трахнул второй, а за ним — третий, четвёртый, Салават вскочил, отшвырнул одеяло и начал молча натягивать одежду.

Наталя в странном оцепенении несколько секунд сидела в сумраке на высокой кровати, свесив голые ноги, в отрешённом недоумении слушая, как выстрелы, приближаясь сюда, к её избе, одновременно рассыпаются по всему селу.

Салават уже кинул на голову лисий малахай, на миг прижал к груди Наталью и, коротко махнув рукой и непонятно вскрикнув, выскочил в сени, грохнул засовом; бухнула дверь, взвизгнул снег на крыльце, удаляясь по тропке к конюшне. Тогда Наталя опомнилась, испугалась, сунула ноги в глубокие валенки, накинула шубу и толстый платок, выбежала из горницы, скатилась с крыльца, кинулась к воротам.

Широкая дверь в конюшню была распахнута, Салават возился в сумраке и рычал — в ответ ему ржал встревоженный конь. Наталя столкнула неструганный брус, державший ворота, схватилась за одну половинку и повела её за собой, сдвигая на сторону снег широким полукружьем.

Салават уже вывел коня на свет, когда Наталя увидела, что из-за створки ворот высунулся, качнувшись, обмётанный инеем воронёный ствол, опустился и устоялся прямо в Саавата. Наталя вскрикнула и, схватившись за ствол голыми ладонями, сунула его вниз, дулом в снег. Винтовка оглушительно выстрелила, прыгнув в её руках, брызнув снегом, вырыв под ногами Натальи воронку с кусками мёрзлой земли. Откачнувшись назад, Наталя ствол не выпустила, а из-за ворот выдернулся казак, свирепо тарашась и сияясь вырвать винтовку из бабьих рук. Но Наталя не выпускала её, словно примёрзла ладонями к стали ствола; дергая и толкая изо всех сил один другого, оба поскользнулись и упали в снег... Татарин заклекотал, прыгнул к ним и, ощерясь, ткнул казака в плоскую спину шашкой, потом нагнулся, схватил его за плечи, отодрал от Натальи и отшвырнул, обмякшего и отяжелевшего в сторону, лицом в снег.

Наталя, лежавшая в снегу на спине, глянула в жёлтое лицо Салавата и вдруг, метнувшись глазами за его плечо, крикнула страшным, нечеловеческим голосом:

— А-а-ы-и!

Салават, инстинктивно втянув голову в плечи, оглянулся — над ним, поставив коня на задние ноги, свесился Яшка — лицо перекошено, рот чёрной дырой, за головой вздёрнута ослепительная сабля. Салават вскинул, заслоняя от падающей стали, руку — она повисла углом, перерубленная, качнувшись на лоскуте рукава, а второй взмах упал на лисий малахай. Конь прыгнул в сторону, забросав лицо Натали поверх горячей крови холодным снегом. Она вскочила на колени, смахнув ладонью с лица кровавый снег, схватила облепленную кровавым снегом винтовку и неумело вскинула её, целясь в Яшку, изо всех сил нажимая податливый курок, — но выстрела не было. Тогда она швырнула винтовку под ноги коню, рванула ворот шубы на заголившееся плечо, отбросила запорошенные снегом волосы.

— Решай и меня, изверг, пока сама не убила!

Яшка, крутнувшись в седле, привстал в стремянах и со всего маху, с оттягом и свистящим выдохом, горбатясь и падая к луке седла, расхлестнул жену от правого плеча до левого соска, вспухшего от жадных губ Салавата.

— В избу! — крикнул он подоспевшим казакам. Те забежали в дом. Но тут же выскочили.

— Нет никого!

— У Груньки он! — Яшка завернул коня на улицу. — Айда за мной!

Один приотстал, хотел поймать Салаватова коня, но тот, выкатив налившиеся кровью глаза и, оскалив большие жёлтые зубы, бросился на казака, сбил его с ног, вылетел на улицу и, не ужаленный ни одной из посланной вдогонку пульей, бешеным налётом полетел-поскакал в поле. Там и встретились они — Володька, который задами, отстреливаясь, ушёл от белых, и верный конь его друга.

...Яшка прыгнул с коня и первым забежал в избу, по псинуму скаля рот. На лавке — перепуганный Грунькин малец, уже одетый и в шапке. А сама Груня — в одной рубахе, босая и простоволосая, как стояла, нагнувшись, возле мальчика, так и села рядом.

Яшка щурко и цепко огляделся, задержал взор на столе — вчерашняя закуска: горлодёр в почти полном графинчике, картошка варёная, в мундирах, холодная, квашеная капуста, хлеб надрезанный. Шагнул к столу, плеснул из графинчика в толстый стакан на две трети, вылил в горло, кинул в рот щепоть кислой капусты, хрумкнул, всадил нож в пузо караваю, но ломтя не отвалил — углядел на стене против стола Володькин, в рамочке, рисунок.

— Антиресно это у него выходит, — растянул он в охальной усмешке заячью свою губу. — И ты — и не ты вроде... Виноградная и с косточкой... Вот, значит, чего он в тебе обнаружил?

Яшка перекинул на Груню кровавистые глаза, загоревшиеся, как от пьяного запаха бабьего тела.

— Очинно антиресно... Вон ты какая... мякотная да и с горчинкой...

Груня, залившись алой краской, почувствовала схватившейся мурашками кожей, как блудливый взгляд его бесстыдно обшарил под рубахой всё её тело... Яшка, передёрнув плечами, стряхнул бешмет, бросил на стол папаху, провел рукой по свалывшимся волосам, рванул ворот козоворотки — пуговицы горохом поскакали по полу. Не отрывая липучего взгляда от Груни, бросил через плечо:

— Мальца уберите... Допрос ей сделаю.

Никитка закричал, забился. Груня обхватила, прижала его к себе, но Яшкины помощники, скверно усмехаясь, выдрали у неё, изломав ей руки, мальчишку и выволокли его, исходящего в крике, из избы. Он и на крыльце бился, кусался, пока не догадались сбросить его тяжёлым подзатыльникам с крыльца в снег.

Никитка выбежал со двора, раздираясь криком:

— Мамка! Мамка!

Тут и наехал на него воротившийся назад Егор — тёмный, страшный, с изуродованным от бешенства лицом. Он спрыгнул с коня, поймал мальчишку за плечи:

— Чего орешь?

— Яшка Серяков мамку сильничает!

Егор взбежал на крыльцо, а навстречу ему Яшка, поёживаясь, застёгивая бешмет. Усмехнулся заячьей губой:

— Никак Груньку захотел? Иди, да остерегайся. Брезгливая.

Егор, сощуриив затравленные, как у заарканенного волка, глаза, всхрапнул и кинул в лицо Яшке пудовую гирию прозоровского кулака. Яшка, вскинув руки, перевалился через перила в сугроб. А Егор, не оглядываясь, прыгнул на коня и так саданул его шпорами в брюхо, что даже крик Никитки, метнувшегося к истерзанной матери, отнесло студёным ветром, ошпарившим судорогой сведённое лицо Егора.

9.

Снег сверкал, слепя глаза, и солнце взобралось на маковку церквушки, когда потащился со всех концов села на площадь народ, стоняемый по приказу капитана Крутя.

Сам капитан, ладный и хмельной, горячил высокого пегого коня, щечка его атласистое брюхо зубчиками шпор, и конь, играя жилами под чуткой кожей, плясал на задних ногах, всхрапывая и грызя удила.

Капитан крутил стрелчатый ус, озирая площадь, и то покрикивал на казаков, чтоб веселее, не жалея кулаков и плетей, стогнали народ, то молодецки оборачивался к стоявшей возе ворот своего дома Анисье и победно скалил белую, под тёмными усами, полоску зубов, принимая от неё, как стопку зелёного вина на подносе, с поклоном — тот изумленно-восторженный, щекочущий бабий взгляд, от которого каждый мужик чувствует в себе героя.

А у Анисьи кружилась голова, как от полного стакана пенного, распробованного вчор из рук капитана шампанского. То, чего ждала всей натурой своей — лихое, разгульное, с кровью и чёрным флагом, с шальной башкой и раздувающимися жадными ноздрями, — всё, как во сне, вдруг пошло перед глазами, и только одного боялась теперь: чтобы не качнулось в глазах, чтобы не побежала, словно зыбь по воде, волна по этому жуткому и пленительному видению, туманя и колыша, как перед пробуждением, это помрачительное зрелище — ослепительный снег, солнце, огненной белкой взлетевшее на вспыхнувший золочёный крест церквушки, и самое пьянящее: издерганные страхом и болью лица, снег с кровью, похожий на морозную мякоть спелого арбуза... Боялась, что истуманится всё это, да и канет в темень, а она, в испуге торопясь, отворит настежь глаза да и упрёт их, обманутая и обкраденная, в бревенчатый угол, где тусклым окладом отсвечивает византийская матушкина икона с женственно красивым, похожим на капитана, Георгием Победоносцем.

Толпа сбивалась в ком, люди жались друг к другу, женщины вскрикивали, крестились и причитали. Редкие мужики — старики большей частью — угрюмились, отсовывали от себя воющих баб, но и сами не могли глаза свои отстранить от растерзанных, окровавленных людей, приставленных плотным рядком к церковной оgrade, подпирающих друг друга, огороженных снаружи полукольцом солдат, уже изготовивших ружья для показательного дела.

Вдоль цепи солдат взад-вперед ездил на доброй перекормленной кобыле поручик Охлопков — в цветных конфискованных рукавицах и тёплой бараньей шапке, доверенный исполнитель карательства и мучительства. Ему, считавшему себя чистородным палачом, гордо верившему, что именно в его роду были те, кто на глазах всей павшей на колени Руси поднимались на лобное место рубить головы разбойникам,

ввергшим страну в разор и воровскую смуту, — хотелось ему стать вровень с грозными своими предками, а, может, и переплюнуть их, сшив себе, к примеру, рубаху из красного знамени и скрипучие сапоги из кожи выдающегося комиссара... Иногда он придерживал лошадь и смотрел на кого-нибудь в толпе, услаждаясь, что взгляд его заставляет человека ёжиться и сжиматься не хуже, чем в упор наставленные чёрные дыры двустволки.

Но вот капитан Круть судорожно усмехнулся и машисто пустил коня в середку снежной полосы, что разделяла топу и пленённых партизан. Здесь он картинно, вздернув коню вожжами гривастую голову, осадил его, нервным мельком глянул на тех, кого по его приказу выставили подле церковной ограды, и закричал толпе что-то отрывистое, устрашающее с той нетерпеливой истеричной развязностью, отличающей слабых людей, не только получивших власть убивать других, но и не раз ею пользовавшихся.

Охлопков, с мрачным вдохновением ожидавший своего часа, что-то скомандовал, и строй казаков ощетинился ружьями.

Анисья дрожала, как в лихорадке, боялась пропустить хоть какую-нибудь малость — лица старух, леденеющие от стывших слёз, почерневшие лица мужиков, заранее снявших шапки, тишину, остекленившую морозный воздух, готовую вот-вот разлететься вдребезги на тысячи осколков...

Охлопков вздёрнул руку в цветной рукавице, на ней качалась нагайка. — Взвод! — крикнул он сипло и самозабвенно. — Пли!

В тот же миг затрещали выстрелы, запыхали, отскакивая назад, винтовки, воздух омрачился и отравился пороховой гарью, а люди у ограды, вскидываясь, переламываясь, что-то вскрикивая и грозя кулаками, стали валиться на снег, выплёскивая на белое — алое, на морозе дымящееся...

Топа замерла, даже у без умолку причитавших баб перехватило дыхание. Но вдруг над площадью вскинулся долгий, отчаянный, заходящийся в смертной муке женский вопль, — и сразу же толпа дрогнула, зашумела разногласно и перепуганно, кто-то кинулся с площади, за ним — остальные... Капитан, растягивая рот в крике, махал нагайкой, конвоиры бросились за бегущими, останавливая их кулаками, прикладами, плетью, кое-где просверкнули сабли... Но удержать толпу было невозможно: люди рвались в переулки, лезли через заборы, даже упавшие и потоптанные ногами и копытами из последних сил ползли к дому.

Анисья прижалась к забору, с трудом удерживая на поводке жёлтого волкодава. Он то вскидывался, то падал на брюхо, кусая напивавшийся кровью снег.

Анисья и хотела бы уйти, но не могла сдвинуться с места, как завороченная глядя на площадь... И увидела, как возле капитана, ёрзающего в седле на пляшущем коне, возник, возвышаясь над прочими, старик с белой бородой — Михаил Прозоров. Многопудовый бас его покрыл плещущий над площадью гвалт, даже на звоннице отозвавшись низким гудом в сонной древней меди большого колокола.

— Пошто лютуешь? — старик ухватил за поводья враз покорившегося ему коня. — Пошто людей казнишь?

Скосилась седая борода. Глаза ярились из-под гневных бровей. Прозоров наступал на капитана, а жеребец, подчинившийся его тяжелой руке, оседал на задние ноги, словно отдавая седока во власть неистового старца.

Круть с перекосившимся белым лицом слепо и судорожно рвал кобуру револьвера, а Прозоров уже схватил его за ремень и потянул из седла. Тут капитан выдернул, наконец, чёрный наган и ткнул им в грудь старика. Револьвер бесшумно прыгнул вместе с рукой — и вдруг старик заломился назад и, цепляясь слабеющей рукой за поводья, за стремя, сперва замедленно, а потом, как подрубленный, рухнул навзничь на истоптанный искровавленный снег.

Конь метнулся в сторону, капитан, едва его удержав, попробовал было сунуть наган в кобуру, но не справился с этим дрожавшей рукой. Тогда он пьяно, невидяще оглянулся на опустелую площадь и направил всхрапывающего и вздрагивающего коня к открывшимся нараспашку воротам серяковского дома.

10.

*...Как шли трое невольников
из неволи,
из той орды проклятой,
из Хивинской.
Пришли они к быстрой реке
ко Уралу...*

Вот уже третий, не меньше, час пьяноватый гундосенький козлетон тянет за дверью одну песню за другой... Поначалу настырный голос караульного мозолил уши, мешал гадать о том, что творится в доме, на площади, в селе. А теперь притерпелись к нему, всё одно не разобрать, что там за стенами творится. Сидят в подклети трое, а что с остальными?

Дом гудел от шагов, хлопали двери, под низкой щелью оконца визжал снег, доносились выстрелы, по земляному полу пробегала зыбь от топанья копыт, гавкали, сбиваясь на визг, собаки... Затихше подступало долго, неуверенно.

Трое молчали. А через полоску света под дверью вместе с избяным духом сочился нудный голосишко караульного песельника:

*...На ту пору Урал-река
возмутилась,
с песком она
да с жёлтеньким
посмешалась,
ледком она да тоненьким
сомыкалась,
снежком да беленьким
покрывалась...*

Аверин, сощурившись, уставиля в угол, где округло темнеет бочка, а в соломе шуршат и попискивают мыши... Тут он, конец... Погиб отряд, ему доверенный, и ничего, и никого уже не вернуть... А ведь уже было оторвались от преследователя... И метель на помощь подоспела следы замести... И вот, когда решили — можно передохнуть, чтобы спокойно понять, как быть делать, — такой обрыв, такая непрощаемая ловушка. И как же это он — учёный, в ступе толчёный — недогадал за хозяином, не разгадал этого, глухим прикинувшегося елейного псаломщика?.. Одно теперь — принять смерть не хуже друзей своих. Ни на единый миг не позволивших врагу признать себя победителем.

Смолк часовой, проскрипел по лестнице вверх, постоял там — должно быть, сменщика высматривая, потом вернулся, сел на ступеньку, стукнул прикладом — винтовку, наверное, рядом поставил... Русский ведь человек. И песни у него русские. И русских же людей охраняет... для казни бережет. А вот и снова завел:

*...Один из них
пустился в путь
через реку.
Он правой ножкой в снег
на лёд становился...*

Домбровского душил кашель, разрывая грудь, кровь то и дело вскипала в горле...

Что ж, его дни... нет, уже часы сочтены. И хорошо, что упросился у Аверина на передовую, когда того после госпиталя назначили командиром отряда, собранного из солдат, выписавшихся из госпиталя после лечения. Аверин, взглянув в землистое лицо учителя, сперва отрицательно покачал головой, но, переспросив фамилию, смолк, погрузившись, пристально и задумчиво всмотрелся в Домбровского, решил:

— Возьму тебя, Антоныч... комиссаром. И парня твоего возьму, смышлёного. Кто он тебе? Приёмный? Попробуем сберечь...

Где-то он сейчас, Володя? Он здешний, может, сумел уйти? Не должен, нет, не должен он погибнуть! И не погибнет. Из тех он, избранных, которых сама судьба хранит, пока не исполнят на земле своего назначения...

«А для нас чуда не будет — захлебнулся кашлем Домбровский. — Нам — последнее. Умереть, не уронив достоинства».

*...И только что успел он
в лёд упереться,
как беленький снежок
вдруг распахнулся,
а тоненький ледочек вдруг
обломился,
удалый добрый молодец
стал тонуть...*

Пётр Прозоров сидел, прикрыв глаза, поджав простреленную ноющую руку, сунув бороду в колени. Слева он чувствовал край литой спины Аверина. Справа содрогался, прожигая одежду, пылающий бок Домбровского. Пётр молчал. Брат, брат Егор — не выходило из головы. Как это: «Не жаль крыла — жаль перышка правильного...» Вся жизнь Егор был пером правильным для Петра.

С тех пор, как Пётр встретился с Володькой Говоровым, и тот рассказал, что видел Егора среди тех, разгонявших демонстрацию — когда Домбровского чуть не истоптали копытами, — он, Пётр, всё ждал встречи с Егором. Ждал, сильно надеясь, что смогут они с братом выйти на часок из палаты и, пристроившись в сторонке от боя, Пётр складно и душевно объяснит примолкнувшему старшому, в чём и какая она, настоящая правда...

Тут часовой вновь поднялся по лестнице — как есть, смену ждал, — потоптался зря и, воротившись к двери, с горечью тщетного ожидания, затыкнул:

*Товарищу он взгаркнул тут
благим матом:
«Ты гой-еси, товарищ-друг,
брат названный!
Не дай мне в мои года
жалко погибнуть!
Беги да протяни скорей
праву руку!..»*

Стряслось с Егором что-то неисправимое. Опоили его, отравили его душу ядом, изгадили совесть его, иначе не побоялся бы посмотреть брату своему в глаза, не отвернулся бы, когда тот искал его взгляда... Петр застонал, мотая головой. Аверин спросил:

— Ты что?

— Братом мучаюсь... Тут он... Он меня взял...

Аверин помолчал, подождал. Сказал, как отрезал:

— Врагами, значит, стали.

— Ну да...

Петр сморщился от боли — не от раны, нет. Егор, Егор терзал сердце его. За дверью гнусавый голосишко выводил свою нескончаемую песню:

*«...И рад бы я тебе
протянути,
да рука-то теперь моя
коротенька,
а быстра Урал-речушка,
глубоконька...»*

Домбровский, подавив кашель, повернулся к Петру, спросил с горьким сочувствием:

— Дружны были?

— Дальше некуда. Любил я его. Он в отца внешностью, дюжий, а сердцем — в мать... душевный был. И крайний, серёдки не признавал... или всё, или ничего... Как ни ворочаю мозгами — всё башка трещит — не пойму, почему он к нам тропку не нашёл?

— А сам-то как эту дорожку нащупал? Семья-то, небось, религиозная? Смирная?

— Оно так, — признал Пётр. — У нас в доме вера непритворная. Отец — он без соринки в душе — что в слове, то и в деле. То же и в вере. А у меня случались сомнения, а уж как на фронт попал — то и вовсе растерялся: убивают людей на войне немеряно, а за что — непонятно. И конца злодейству этому не видно. Пошёл к священнику полковому, покаялся, Тот мне все грехи враз отпустил, не запыхался, следующего позвал. Тут я и вовсе поник. Чувствую, самому не разобраться, и помощи никакой.

— И никого из наших там не было? — спросил недоверчиво Аверин.

— Нашёлся один, царство ему небесное... Это я по привычке... потому как расстреляли его... Я вроде этого, что за дверью поёт — в карауле стоял на полковой гауптвахте. Только я не пел, всё раздумывал, с чего был тот, кого с ружьём охраняю, против самого царя пошёл? Не выдержал, в дверь его об этом спросил. Мне ведь чего надо было? Чтобы объяснение из таких слов состояло, к каким я дома приноровился: любовь, добро, труд праведный, справедливость... Человек тот — был он пулемётчиком, грамотой овладел — меня понял правильно. И хоть немного успел сказать, а слова-то его немногие в душе у меня проросли. Уразумел я от него главное. Справедливость — она одна для всех. Но не в том лишь, чтобы самому против неё не поступать. Вторая её половинка — до полной справедливости: чтобы бороться за неё с теми, кто её попирает. Вот это мне и надо было понять — в кого оружие направить...

За дверью посылались грузные, сверху спускающиеся шаги. Новый — густой, хмельной и сытый голос громко спросил:

— Ну, чего не весел, хвост повесил? Чего таку песню жалостну гундо-сишь?

— А што? — откликнулся повеселевший часовой. — Какá-никакá песня, а лучше драки!

— Вот и я говорю, — поддержал басок. — Какá-никакá милка, а лучше собаки!

— Ну, пошел я, — радостно сообщил тенорок. — Посиди, потомись. Ещё не так запоёшь!

— Уж не так! Во как!

И сытый басок, прищёлковая языком, пропел:

*Эй, да не ходи
Смотреть, забава, скачку.
Ты напрасно, любушка,
Да не прекословь,*

*Если не слюбились
Мы с тобой,
Казачка,
Если закатилась
Ранняя любовь...*

Наверху шум всё нарастал и вдруг прорвался многоголосым, крикливым гомоном, громкой топотнёй, пьяными песнями. Солдат у двери затих — должно быть, прислушивался к лихому веселью, потом заскрипел ступенями, поднимаясь на разведку, бормоча под нос сокрушённо:

*Между прочим, чижало,
Что не знамо ничаво...*

Окликнул кого-то, разговор шёл невнятно, пока караульный не удивился громко и испуганно:

— Как это?! Самого капитана?

— Ну!.. Не веришь — кого хошь спроси. Даром что старик. Сгреб за грудки — и к себе, прямо с лошади... Капитан еле пристрелил его. Здоревенный старец, страсть! А настырный...

Пётр вздрогнул, дёрнулся. Отец? Кто же ещё?

Разговор наверху оборвался. Сапоги протопали в сторону. Караульный, проклиная судьбу, привязавшую его к посту, когда дом трясётся от пирования, смачно и длинно выругался и побряхтел вниз, к двери.

Пётр сутулился, молчал, кулаки стискивая.

Домбровский, словно о чём-то догадываясь, хрипло и негромко проговорил:

— Старый человек — в одиночку, безоружный... Вот ведь какая сила в справедливости...

— Да, — звенящим своим голосом подтвердил Аверин. — Тут и второй ответ — ненависть. Ненависть к несправедливости. Возьми, к примеру, меня. Из крепостных, к заводу приписанных. И какова наша жизнь? Сам не захочешь бунтовать — так эта жизнь заставит. Работа от зари до зари. Один просвет — воскресенье, да много ли в нём радости и отдыха при набравшихся за неделю заботах? Между прочим, дед, можно сказать, художником был по железу. Кружева из него выковывал, в царских дворах — украшение. Так ему за какую-нибудь кружевную калитку кинут рубль-два премиальных, да ещё день выходной, ну, он, как накануне с вечера начнет, так и до следующей ночи гуляет. Догулялся, сгорел до срока. И семью без копейки оставил. А отец у нас был тихий, знал своё: работал и помалкивал. Мы же с братом старшим — другие, со многим несогласные. Особенно старший — малейшей несправедливости не терпел. Его и взяли на заметку. И первым же на заводе в тюрьму отправили. Приехали мы к нему — отец, мать и я — на свидание в городскую тюрьму, его уже по этапу в Сибирь готовили. Ну, подошёл он к решётке — тощий, под глазами горящими черно, в тяжёлых наручниках. Стоим. Я брата изучаю, злобы от него набираюсь. Мать хлюпает. Отец молчит. Брат усмехнулся, мне подмигнул и говорит отцу: «Узнаешь?» И наручники ему показывает. Отец глянул да и признал свою работу. А вечером водки бутылку принёс, поставил на стол, пьёт стопку за стопкой, не закусывая, и всё бубнит, бубнит: «Моя работа... Всё моими руками сработано... Кандалы и цепи... Решетки и замки...» А утром, не проспавшись, шёл через заводской двор по путям, да так задумался — его вагонеткой подшибло: в неё и упал, прямо в руду. Хорошо, работяги заметили, а то бы так в печи и переплавили... Ну, а мне — куда? Цепи брату родному ковать? Разбойничать? Путь мой понятный. Порядок менять. Бесповоротно.

Аверин покосился на Петра, подождал, не скажет ли чего. Тот молчал, ещё больше сутулясь. Аверин повернулся к Домбровскому.

— А ты как к нам пристал, Антоныч? Вроде бы не от станка и не от сохи. А всё верно понимаешь. И Володьку Говорова на правильный путь поставил.

Домбровский подавил подступающий кашель, хрипло ответил:

— История длинная... Я ведь оттуда, куда твоего брата отправили... Там родился, там учился, всем обязан своим родителям. Сами в жизни натерпелись и своей боли, и чужой... И когда я в двадцать лет решил себя правому делу посвятить, отговаривать не стали. Мать, правда, не выдержала, заплакала. А отец приобнял её за плечи: «Ну, чего ты... Какой мы с тобой выбор сделали — такой и сын наш повторяет».

— Да, — подумав, кивнул согласно Аверин. — Всё правильно.

Умолкли. Совсем стемнело в подклети. В доме опять затопали, загалдели — по-иному, как бы встряхнувшись окриками-командами. Часовой несколько раз поднимался по лестнице — вникал в происходящее. В последний раз, вернувшись с чьей-то подсказкой, поцокал, кряхтя, языком, грохнул прикладом, садясь, и плаксиво затянул:

*— А уже глазоньки-то у него
запеклись, у милого.
Весь-то лежит, измученный,
изувеченный...*

Но осекся, вскочил. По лестнице, похоже, спустился к нему кто-то повыше его званием, — одобрил, громко икнув:

— В масть поёшь!

И скомандовал:

— Открывай!

Дверь распахнулась. Коптящим фонарём осветил с порога Яшка, раздвинув трудной улыбкой напухшую верхнюю раздвоенную губу:

— Извиняюсь, вашу мать, не соскучились ждать? Счас повеселим, пощекотим! Вот ты... С тебя начнём.

Ткнул пальцем в Петра Прозорова.

— Пшли на допрос... ну!

Пётр встал, чувствуя чутунное, в зазубринах пожатие Аверина правой рукой и сухое горячее пожатие тощей кисти Домбровского — левой рукой.

11.

Капитан Круть пробуждался долго, мучительно, трудно. Надсадно, до хруста в мозгах болела голова, пудовой тяжестью вдавленная в душную подушку, во рту рвотно набух язык, жгла изжога. Но мутное, студёнистое оцепенение было сильнее боли и тошноты, и если б не рыдающий храп Охлопкова, распарывающий тишину горницы, и не этот страх, знобко сквозящий в заваленной свинцовым туманом голове, долго бы еще страдать Крутью в болезненном полусне. Но страх, как железное дуло нагана, которым раздвигают насмерть стиснутые бульдожьки челюсти, протиснулся между сомкнутыми веками и стал раздирать их, подталкиваемый истошными всхлипываниями Охлопкова. Глаза, противясь, чуть не со скрипом отворились, но было по-прежнему темно, мутное лунное сияние еле сочилось сквозь оконный лёд, покачивались, поблескивая, золочёные ядра на спинке кровати и повыше — золочёный оклад иконы... И Круть, кривясь от боли и жути, не мог понять, проснулся он или сон продолжается, приняв — чтобы пострашнее было — обличье яви... Тут, оглушительно всхрапнув, завозился совсем рядом, сбоку, Охлопков, — Круть брезгливо отодвинулся и рывком сел на кровати, проклиная хозяина, который по своей сельской простоте уложил их в одну постель.

Натягивая, с передышками, галифе, узкие сапоги, он снова и снова тасовал в потрескивающей от боли голове всё, что могло быть причиной

пугающей тревоги. В памяти пересыпались подробности блестящей продвинутой операции, а озноб не проходил, усиливаясь оттого ещё, что, смутная и жутковатая, выскальзывала, как из трясущихся с похмелья пальцев, догадка.

Но вот он кое-как ухватил её — это была пугающая мысль о Егоре Прозорове... С ним — кончать... Повода сорвал, удила изгрыз... Кончать скорее, пока не... Солдаты с разбитыми рожами жалуются — Егор в иступлении от шалостей их отваживал. И ещё этот старик... У Егора там, рядом с гробом, никак чуть не по Достоевскому — раскаяние, самобичевание и прочие расейские самобичевания... Пришлось приказать оружие отобрать у него, не выпускать со двора, а коли попробует — стрелять.

Но... меры взяты... Откуда же пакостное ощущение следящей за тобой немигающим зрачком опасности? Егор?.. А в нём ли одно дело?.. Постой... — Круть присел на кровати с кителем в руках. — Да, да... Конечно же, тут оно...

Вспомнился давний спор с Охлопковым, тогда Круть как раз об этом и кричал упёртому своему помощнику, вяло притворившему готовый к зевку рот.

— Ты пойми, — вдалбливал Охлопкову, — у таких, как Егор — а их тьма! — всё вокруг божьего слова крутится. И мы сами ему это слово вколачивали тысячу лет и, слава Богу, забили, как сваю, до самого нутра. А что теперь? Что? Внушали — «не убий», талдычили — «возлюби ближнего», лопотали про «братьев во Христе» — посылаем топтать демонстрантов? То есть своих же — штатских, безоружных — людей? Представь-ка, что у него творится в башке от всего этого? А между тем, увлечи мы его за собой, да так, чтобы он сам за нами, сам хотя бы один первый шаг сделал — это сколько же за ним таких, как он, шагнёт! Вот этот шаг и надо вырвать у него, и я тебе скажу, как... Да слушай же, Россию проспичь!.. Сейчас надо сорвать его с этого пунктика, в мозги его вбитого, надо пятно ему кровавое на душу посадить, а уж как сорвётся он, как ударится в истерику расейскую — тогда держись, увидишь, с каким надрывом, размахом, упоением начнёт он эти пятна у себя в душе множить. А истерика — она, брат, весьма заразительна... Я бы, к слову, не только не преследовал и не ограничивал на Руси пьяниц, скопцов, хлыстов, прохвостов, содомитов разных... кто там ещё... С такими легче! Они кого хочешь, казнят, а его самого казнить — суда не надо, грех ходчий, дави — никто не пожалеет.

— Нет, — с мрачной убеждёностью покачал головой Охлопков, при последних словах капитана очнувшийся от зевоты. — Всё, что ты говоришь, психология сопливая. Затащил Пётр... всю эту заморскую дрянь на нашу землю — вот оно и пошло кувырком. Возьми, к примеру, шпицрутены — слово-то, а? От звука одного русского человека с души воротит... Шпицрутенами начали — к психологии перешли! Нет, нашему человеку и правёж нужен наш, родной, без соплей, без психологии! Пороть надо по-доброму — розгами, плетью. Всю Россию перепороть. Всю как есть.

Тусклые глаза его устремились куда-то вдаль, словно уже увидели живую любезную сердцу картину: выстроившийся, к примеру, вдоль Восточно-Сибирской магистральной дороги во всю её длину ряд голых, с приспущенными порками спин, убегающих в обе стороны к границам Империи.

— По сотне лозанцев в каждую вложить. И делу конец, — сказал он убеждённо. И, вспомнив нечто важное, прибавил: — А писателям этим, твоим великомудрым — особливо добавить.

И уже вовсе с замиранием сердца вгляделся на представшую взору его вожделенную, сизым гусиным жирком заботливо смазанную охальную спину писателя, которую он, Охлопков, оглаживает взглядом, готовя обработать дедовой витой плетью, и с нежностью застенчиво упря-

танной за притворной суровостью, заворачивает на правой руке рукав к самому плечу...

— Я берёзу белую в розу переделаю, — завершил он своим любимым присловьем.

— Чудак! Так ведь и я о том же... Но методы! Эх... — Круть махнул рукой, отчаявшись доказать Охлопкову преимущество своих методов.

Сейчас вспомнился этот спор... Нет, не прав Охлопков. Егора, к примеру, выпороть — окончательно потерять, к врагам оттолкнуть... Да он уж и сам почти оттолкнулся... От таких надо освобождаться, да поскорее... Сейчас действует только одна логика — логика успеха. Победим — поведём. Заставим пойти... Почему — победим? Победили! Разве нет?

Круть вздрогнул: что-то стукнуло под дверь, потом она скрипнула, приоткрылась.

— Кто там? — вскинулся капитан, нашарив в темноте пистолет.

— Мы... — Дверь отворилась пошире, через порог переступил, опираясь на костыль, со свечой в руке, Арсений Серяков. — Мы... проведать пришли... Как вы тут... после обеда-ужина... Просили разбудить затемно, допросы чинить намереваетесь.

— Входи, — махнул рукой Круть и стал надевать китель.

Серяков в суконной коричневой чуйке, толстых вязаных носках и блестящих галошах прошёл, нарочито хромая, к столу, поставил свечу и, кивнув на всхрапнувшего Охлопкова, отметил:

— Ишь, как знатно спит!

— Сейчас подниму его, — буркнул Круть, приглаживая волосы. — Слушай, чем это ты опоил нас... какой дрянью?

— Господь с вами! Я напротив — старался для победителей, всё наилучшее на стол выставил. Сами хвалятся изволили, от всех семи цветов отведали!

— Каких еще цветов? — Круть подозрительно уставился на Серякова. Тот поспешно пояснил:

— А настоечки мои... Семь радужных цветов... В семи графинчиках... Нешто запомнили?

— А-а... — Круть успокоился, начал растирать мешки под нижними веками. — Да, что-то припоминаю... Эстетство разводишь, — брюзгливо осудил он.

Не ведая, обидное оно или похвальное, это слово, решил Арсений на всякий случай прикинуться глуховатым. Но тут его осенило:

— Это вы насчет клопов? Покусывали малость? Уж я это предчувствовал. Как увидел, что... комиссар этот чахоточный книжки из сумки вытащил — сразу и подумал: быть клопу. Дело известное — книга клопа родит... Однако есть у меня верное средство: вот повешу я здесь над кроватью билет — подарок тестя покойного, священником был — молитву святому священикомученику Дионисию Ареопагиту — всё семейство клопное враз изничтожит. Ареопагит — первый клопу изводчик!

— Что ты мелешь... — досадливо пооморщился Круть, взглядывась в тёмное зеркало. — Дикари... Свету еще принеси. Да чаю, чаю крепкого сделай.

— Сделаем, всё сделаем! Защитнички вы наши-и... Я только спросить намерен: как вы с Егоркой-то Прозоровым порешили? Вон он какой патрет Яшке-то разрисовал! Да ить не одному ему — многим. Выворотень он, Егорка, кривое полено: ни в поленицу, ни в печь не ляжет.

— Делай, что сказано, — прервал его Круть. — Ступай, сами разберёмся. Через минуту в дверь снова стукнули. Круть, плеснувший в лицо одеколону, обмахиваясь ладонями, бросил:

— Входи.

В комнате заметно посветлело, по стенам и потолку скользнули тени. Он, жмурясь, скосился — к столу шла Анисья с лампой-тридцатилнейкой в руке, щурясь и отводя глаза от пламени. Поставив лампу на стол, задула свечу и повернулась, освещённая сбоку, позволяя оглядеть себя

всю: статная, круглобёдрая, с нахально круглящимися под кофтой грудями, с маленькой головой на узкой гладкой шее, оттягиваемой назад тугим узлищем чёрных, с лунным глянцем, волос, с разлетевшимися к вискам узкими бровями, узким стройным носом и яростными, яркими губами на остроскулом лице. В ушах, качаясь, блестели большие, как подковы, дутые золотые серьги, отсвечивали позолотой зелёные глаза.

— Щас чай подам, — она с усмешкой шевельнула бровью и поплыла к двери. Круть повернулся к ней, ухватил её тугие плечи.

— Страсть-то какая, — притворно пугаясь, прижалась она к нему. — Помощник ваш проснётся того и гляди. Стыда не оберусь.

— Не проснётся... — Он зло тискал её, щекоча шею усами. Она вдруг упёрлась ему в грудь ладонями и легко выскользнула из его рук.

— Давеча за обедом... под столом ногу мою мучил и руку целовать грозилась... Всё штучки ваши кавалерские... речи облыжные. Небось, и не помните, чего обещали?

— Про ногу — помню... И про руку... А что обещал? — Круть вновь попытался обнять её. Анисья опять выскользнула, указывая на кровать:

— Просыпается!

Охлопков и точно, пробуждаясь, заметался, застонал и даже заскулил. Круть с досадой и отвращением посмотрел на него и на кровать, твердо решив, что теперь-то уж не только один на постели — один в комнате спать будет.

— Я на площади геройство ваше видела. Щас вот что хочу. Обещались показать.

— А-а, вот ты о чём. Ладно. А ко мне придёшь?

Анисья, загадочно усмехаясь, выскользнула за дверь.

Охлопков, откинув ногами одеяло, сел на постели — косматый, страшный, — ошеломлённо лупая кровяными глазами.

Он был так смущён лукавым и жутким сном своим, что, и без того не шибко разговорчивый, в тот поздний вечер за чаем лишь сопел мрачно и обиженно, по-бабьи подперев большую, в казачью скобу подстриженную голову, да, пластая рыбий широкий рот, беззвучно шлёпая губами, тяжко вздыхал, пугливо и изумлённо вглядываясь свежей памятью в то, что привиделось ему во сне и теперь покоя не давало загадочным и лютым своим непотребством.

А приснилась ему сперва-то просто баба голая, молодая, — комиссарша, которую казнил летом, смутительно красивая и белая, как берёзка. Потом исчезла она невеста куда, и тогда Охлопков увидел себя, как и мечтал всю жизнь, на высоком, из досок, лобном месте посреди обширной площади — напротив храма божьего. В серёдке помоста — столбик повыше колена, дубовый, кровью крашенный, на нём — ремни для привязи.

Сам Охлопков в кумачной рубаше, перехваченной кавказским ремешком, в казачьих шароварах с широкими — будто руки о ляжки вытер — красными полосами лампасов, в блестящих, бутылками, с тугим скрипом сапогах... прохаживается вокруг столбика по скрипучему помосту и, плетью поигрывая, гладит сверху ознобляющим взглядом на люд, чёрным муравейником сбившийся на площади, и гулко так, как в тысячеведёрную бочку, приговаривает свою, кровью пахнущую шутку:

— Я берёзу белую в розу переделаю... Вот уж я берёзу...

Шагает палач-мастик по помосту, в руке его плетль порхает, посвистывает, и всем понятно: захочет — плетью той шёлковый платок разрубит, созорует — защекочет его, не от боли помрёшь — со смеху...

А на помост сыплются частым звонким дождичком медные пятаки — умиловитивать заплечных дел мастера, только он ни в какую, куражится, своё твердит:

— Ужо я берёзу... Ужо — всех... Всех вперехлёт... Хоть смиришь, хоть мёртвым прикинись... Всех — в розу... в розу...

И вот тут-то и начинается Оно... Раздаётся площадь, бескрайно голая и пустынная, как стол, и один-одинёшенек на ней, маленький, как

мураш, Охлопков, с малюсенькой плёткой в ручонке, с малой егзливой тенью у ног, — озирается. А под ногами уже не площадь, а что-то гладкое, живое и знакомое, и будто подрагивает, шевелится... вроде как дышит... И тогда жутко становится ему: казаться начинает, что и не площадь, и не земля это вовсе, а... спина, во всю Империю спина, с Уральским хребтом посередине. И не то, что побить её он не в силах, даже и пощекотать её не сумеет по причине невероятных её размеров.

Вот тут и стал Охлопков стонать, стал метаться, чтобы проснуться, потому что догадался всё ж: сон это. Стонал и вертелся, пока не очнулся.

Но, хоть и очнулся, в себя вполне не пришёл.

И даже к любимому делу — к допросу — приступил без всякого удовольствия и пристрастия.

Первым ввели Петра Прозорова.

Он шагнул в горницу, наклонив голову в дверях, — грязный, взлохмаченный, со слипшейся и будто одеревеневшей от крови бородой... Конвоиры, дюжие и ко всему приноровившиеся, оглохшие от зверства мужики, толкнули его на лавку — лавка охнула.

Допрос начал сам Петр Прозоров.

— Дайте ответ, — бас его был сильный и властный, — что со стариком моим сделали... ну! — Он перетаскивал тяжёлый, выпытывающий взгляд с одного лица на другое... в прячущихся глазах была правда. — Убили? — В голосе его нарастала угроза, точно это он собрал их всех сюда, к столу, чтобы творить суд и чинить наказание. — Кто убил? Ты?

Он поймал и скрутил, как ловят и скручивают убийцу, перепуганно и злобно дергающийся, сисящиеся вырваться глаза Крутя и, поднимаясь, протягивал к нему огромные почерневшие руки, словно определено было в этот раз капитана за горло взять надёжно и навверняка. Огромная тень, метнувшись по стене, нависла с потолка над сидящими... И тут Круть, опомнившись, вскочил, уронив стул, и крикнул:

— Убрать!

Таких, как Аверин, капитан ненавидел более всего на свете. Ему казалось, что эти люди какой-то иной нации, с другой, чем у его племени, историей, географией, с другой наследственной памятью. И хотя слова их языка похожи на слова их наречия — это случайное совпадение звуков делает в особенности выпуклой их неспособность понять один другого — ни сейчас, ни когда-либо в будущем... если будущее у них будет. Молчание Аверина пугало Крутя, но и от звуков его голоса по коже пробегал обморочный морозец, как от звона назначенной тебе стали — по точильному камню.

Аверин говорить не спешил. Когда Круть допёк его вопросами, угрозами и посулами, он отмахнулся от него, как от докучливой осенней мухи:

— Не понял ещё? Не буду я говорить, ясно?

Тут Круть кивнул Охлопкову. Тот вместе с Яшкой, напросившимся к нему в ученики, взялся за дело... Но немного добились и они. Когда колотили рукоятью нагана по толстым, как черепаший панцирь, ногтям Аверина, с трудом удерживая его узластые, в стальных мозолях, руки на краю стола, он скалил крепкие зубы и, сочувствуя, объяснял:

— Зря стараетесь. Мастер меня на заводе таким манером работе учил.

Когда били его по лицу, по глазам, по челюстям, он, встряхиваясь, как от дождя, и сплевывая белые, в сгустках крови, зубы, мотал, сожалея, головой:

— Время теряете... Ваш брат, белоштанник, этаким манером меня солдатской службе учил.

И когда истоптанного и побитого сапогами привели его в чувство полуведром ледяной воды, он, шевельнув усмешкой изуродованный рот, прохрипел:

— А немец-то на передовой... воевать учил почище вашего.

Умаявшись так, что в горнице иконы запотели, как заплакали, — решила передохнуть, подкрепить силы. Солдаты смыли с пола кровь. Ани-сья стол вытерла, набросила скатерть, поставила графин, до пояса на горлышке с водкой, принесла от обеда остатки: пирог с рыбой, свинину жареную, грибки... Глаза у неё пьяно блестели, ноздри вздулись, на бледном лице, точно накрашенные, атели пятна на скулах. «Точно кокаина нанюхалась, — подумал Круть, сжимая под столом обтянутое шёлковым чулком полное тугое и горячее её колено. — Атаманша!»

...Ани-сья, видя, что офицеры не торопятся вставать из-за стола, нетерпеливо сбросила с плеч тяжёлую с двойной турецкой каймой шаль и, хрустнув переплетёнными, в кольцах, пальцами, выгнулась так, что кофта чуть не затрещала на груди, с нервным зевком протянув, будто в шутку:

— Не дождёшься тут с вами конца делу... Одной зоревать придётсяя.

Круть потянулся за расшитым петухами полотенцем, вытер сально лоснящийся рот и подбородок, бросил полотенце на стол, встал:

— Продолжим. Давайте учителя.

Домбровский в дверях — от дыма, наверно, — запнулся, закашлялся, зажимая рот большим, в чёрных пятнах платком. Когда его толкнули на лавку, он отнял от лица заметно посыревший платок и столкнулся покрасневшими от напряжения глазами с дурашливой улыбкой Крутя.

— Позвольте приветствовать вас, господин учитель... Как видите, поменяла нас местами судьба. Спрашиваю я, а вы извольте давать мне правдивые ответы.

Домбровский, словно силой удерживая то, что вот-вот грозило-сь снова подступить к горлу, качнул отрицательно головой, не разжимая стиснутых, побелевших губ.

— Не подготовились? Не здоровы? Ну-ну, только не молчать... — учительным тоном, точно кого-то передразнивая, произнёс Круть и даже мягко ладонью по столу пошлёпал, будто привлекая к себе внимание поставленного у классной доски ученика. Потом, не выдержав роли, раздражился: — Молчалиники вы, господа... Видать, говорить разучились? А как промеж собой — жестами изъясняетесь? — Он надвинулся грудью на стол, приблизившись к Домбровскому. А ведь именно с вами я как раз и хотел... поболтать, как со старым учителем, коему хорошо известно, что человек я незаурядный.

Домбровский, наконец, отдышался и, смахнув со лба пот, даже усмехнуться нашёл силы:

— Да, один ваш подвиг... у проруби... мне запомнился.

Круть раздраженно откинулся на спинку стула.

— Невольно подумываю, не передать ли вас в эти искусные руки, — он кивнул на Охлопкова. — Господин поручик у меня, если по-вашему выразиться, вроде комиссара. Тоже людей вразумляет. Правда, методы у него старые. Но испытанные.

— А не действуют... — посочувствовал Домбровский.

— Это уж кому как. Не хотите испробовать? — прищурился Круть. И вздохнул огорченно. — А ведь придется наказать вас, если не заговорите. Такова педагогическая традиция. Хотя вы, помнитесь, не особенно их придерживались? Один раз поступили, как достойный учитель гимназии, когда там, у проруби, вырвали меня из рук этого... лапотника, кошку, видите ли, пожалевшего! А потом сами же всё испортили... приютив ублюдка в своей квартире. Нет, вы положительно неисправимы... Говорят, этот сбежавший Володька Говоров тоже ваш квартирант? Вроде бы тихий, книжный человек, а в тайне давно и упорно льёт пули против русского дворянства. А зачем? Ну, допустим, России нужны перемены, я ведь тоже этого не отрицаю. И не понимаю, почему бороться за них мы с вами должны по разные стороны... баррикады? Ну, постреляем мы друг друга, а кто останется? Кухаркины дети? Эти лапотники, которых

вы научили книжки читать? У них, значит, будущее, у них, значит, способности, а у меня, по-вашему, что?

— Озверевшая импотенция, — ответил, почти не разомкнув губ, Домбровский.

Круть саданул кулаком по столу:

— Молчать! — Он дернул головой — Охлопков лениво потянулся, сказал подмастерью Яшке:

— Стяни порты с него... Посечем маленько...

— Отставить! — неожиданно спохватившись, приказал Круть. Яшка недовольно вернулся на место. — Бесполезно — загнётся сразу, — пояснил Круть разочарованной Анисье и тут же поспешил её успокоить. — Я кое-что поинтереснее изобрёл.

Капитан повернулся к Домбровскому.

— Я было подумал, что вас и могила не исправит... Но, может быть, всё-таки ошибся? Знаете ли, не всякая смерть одинакова... Одно дело прокричать что-нибудь эдакое под пулями — ваши это любят. Другое дело — постоять босиком на льду, ожидая, пока вас столкнут в прорубь... Это с вашим-то здоровьем?

Яшка не выдержал, восхищённо заржал:

— Ай да ну! Вон куда подвёл! Голова!

Анисья зябко поёжилась, мечтательно щурясь, натянула на плечи шаль:

— Вода-то в пролубли — свяченая... Как в купели...

Даже Охлопков сложил свой налимий рот в подобие одобрительной улыбки.

— Стоило бы примерно посечь учителя за шалости его и упрямство... Однако есть, оказывается, удовольствие послаще... Я думаю, господин капитан, надо бы всю троицу под лёд отправить, вы согласны—Охлопков повернулся к Домбровскому: — Так и передайте друзьям своим: не заговорите до утра — все там будете.

Охлопков махнул рукой, и ожившие конвоиры потащили задыхающегося Домбровского в подклеть.

12.

«...и пошто примахались твои руки белые, притоптались ноги резвые, притомились очи ясные, пошто распалась ты и молчишь, словечка не вымолвишь?

Уходишь ты от нас, кормилец и заступник родимый, в дальнюю сторону, за леса тёмные, реки быстрые, моря широкие, за край света белого.

По широкой дороженьке уходишь, живому глазом не просунуться, мертвому назад не протиснуться.

А и с той стороны ни пешего нет выхода, ни конного нет выезда, ни птичьего нет вылета.

И зачем ты протянул руку злему врагу, и зачем зажжёг перед ним свечу воска ярого? Задул он свечу ясную, оборвал он руку твою честную

А и остались одни думы горькие, что погреба глубокие, подполья тёмные, подвалы холодные, что могилы мёрзлые...»

Когда принесли старика Прозорова в дом, он ещё в беспомощности слабо лепетал что-то невнятное, по-детски комкая и сокращая слова... Долго противился смерти Михаил Прозоров, трудно из жизни уходил, словно много дел оставлял недоделанных, таких, что беспрерывно самому и обдумать, и сделать надо. Он ведь и с надорванной жилой высоко и гордо стоял, как дуб, что и с источенной сердцевиной стоит до последнего вздоха на опушке, разбросав ветки и поветви, охраняя лесную молодь, лесной народ, а уж свалит его буря с молнией — тут и земля содрогнётся.

Егор прибежал в дом. Когда старик уже смолк, утомился, лежал тихо, исподволь ослабляя дыхание. Старуха неотступно сидела подле

него, наступающая смерть её благоверного застила очи. Порою вскидывалась она, вспомнив о Петре или Егоре, но вздрогнут посиневшие губы, и снова ловит она последние, сосчитанные дыхания Михаила Прозорова.

...Когда мать тихо завывала, опустившись на колени рядом с кроватью, прижимаясь мокрой от слёз щекой к похолодевшей и одеревеневшей уже руке старика, Егор, горбаться, изломав губы и выкатив у висков побелевшие желваки, подошёл, коснулся ртом ледяного, разгладившегося лба отца и, падая вперёд, цепляясь ногами, выбрался на крыльцо. Долго стоял в распахнутой рубахе на морозе, ссутулившись, вдавив лицо в кулаки, смяв бороду, сдвинув набок кожу на лице... Туча, что надвигалась на него, обращая белый свет сперва в мертвенно-серый, как зола, сумрак, теперь заполнила всё крошечным мраком, где до того темно, что и крика-то не услышишь.

Потом он очнулся, внес в дом гроб, — последнюю домовину свою старик сам себе слагил загодя, справедливо опасаясь, найдётся ли, если, не дай Бог, преставишься в лихолетье, нужного калибра доска и мастеровитая рука.

Услав Мишатку, наплакавшаяся Дуня помогала обмывать старика, а Егор лишь издали видел зачерневшую рану на груди, по левую сторону.

К ночи, обрядив Михаила Прозорова в вынутую из сундука свадебную его одежду — рубаху белую с чёрным узором, жилетку горчичную, бархатную, суконные порты и сапоги с потускневшей и присохшей от срока гармошкой, уложили его в застеленный белым гроб на столе, посреди комнаты, ногами к двери.

Лежал он огромным клином, сложив на груди отбелившиеся к смерти руки. На необъятное поле груди стекала, как ледник, серебряная борода, взявшая начало из-под серебряных же усов на заострившемся и белом спокойном лице.

Отправил Егор Дуню к соседкам, а сам остался с матерью дома... Сидит мать возле отца, головой о гроб стучается, плачет, причитает, а Егор в соседней горнице — душа мутная, смурная, и нет мочи пальцем шевельнуть, пока не выскажется в голове хотя бы одно вразумительное слово. Потому и принёс он большой гранёный графин самогона... И тогда, после второго стакана, словно ступил он — в который уж раз! — на присыпанный белым снежком ломающийся лед, чтобы по нему, скользя и проваливаясь, цепляясь судорожными пальцами за обламывающиеся края льдин, вползая на них брюхом и снова соскальзывая в ледяную водовёрть, добраться наконец-то до берега, ощутить хоть в последний час своего существования твёрдую землю под ногами.

А мать всё раскачивается и причитает, будто не свои только одни, а все слёзы русские выплакивает, весь стон русской земли выстанывает.

«...и скоро ли свет да ясная зоренька просветятся, и расплещется по миру красное солнышко и обогреет сердце человеческое?»

Плачут вдовы молодые и старые над упокойничками родимыми, над детьми-сиротами малыми, вдовья кручина — самая многокручинная.

Плачут сироты малые, слезами горькими, сиротские слёзы — горше всех слёз.

Плачут разоренные, бесприютные, обездоленные, плачут раненые, изувеченные, плачут слезами горючими, неизбывными.

И пошто нет нам утешения? Пошто, Господи, не воззришься на нас, не смилостивишься над слезами нашими, не пожалеешь, не вразумишь детей своих? Ужели забыл про нас, Господи? Пошто рушишь веру в себя?

Вы падите, горючие наши слёзыньки, не на воду, не на землю, не на долю людскую, а падите на злодеев супостатных.

Да не тленов на платье их цветное, не разором на дома их высокие, а безумьем на головы их буйные, наказаньем суровым и праведным на судьбу их злосчастную!»

Они стояли у ворот казармы — Михаил Прозоров со снохой Дуней и внуком Мишаткой, белоголовым и большеглазым — в мать.

Егор шёл к ним по булыжником мощёному двору, придерживая саблю, цокая коваными сапогами, пасмурно насупившись, — и родным не радуясь, словно теплом и светом своим они заставляют сильнее и острее чувствовать приближающийся ледяной мрак, от которого, как во сне, нету сил ни убежать, ни проснуться.

Оттого, может быть, заметив нищего старца, повадившегося просить подавание у ворот казармы, Егор, неожиданно для себя самого, в сердцах взял старика за плечо и подтолкнул его на мостовую, прищипнув: «А ну, давай-ка отсюда, блаженный...» И слово-то — «блаженный» — сказал то самое, которым в прошлый раз обругал нищего капитан Круть, прогоняя его с этого места.

Старик заковылял, запетлял лаптями, кивая головой испуганно и подобострастно, а Михаил Прозоров, сдвинув густые брови, долго и сурово молчал, не глядя на сына. А потом сказал Егору:

— Откуда в тебе недоброхотство такое? Старого человека обидел. Аль забыл евангельские наставления?

Отец на исходе годов, как с горы вниз пошёл, по святым духовным наставлениям силился постичь хитросплетения жизни и место в ней человеку и счастьем его определить.

— Эх!.. — с горечью отозвался Егор. — Что я, слову божьему сердцем не сочувствую? Но как быть, коли изверился я? Коли концы с концами не сходятся, а, напротив, расходятся? Священные книги... А ты устав службы знаешь? Миновало тебя это?.. Не кори ты меня божим словом, душу не терзай.

Егор запустил пальцы в пушистые волосы Мишаткины, обнял за плечи Дуню, она зябко прижалась к нему, а Мишатка молчал и, сопя, вертел босой ногой, словно стремясь дырку провертеть большим пальцем в гладком гранитном булыжном камне. Михаил Прозоров, большой, широкий, седой, в иконном серебряном окладе бороды, прислонился к телеге и молча перебирал поводья. Лошадь вопросительно оглядывалась на него, встряхивая серой гривой и шумя ноздрями... Своя старость к чужой старости особое понятие и сочувствие имеет. Михаилу Прозорову было так, будто его самого толкнул сын грубой и жестокой рукой.

А Егор искал слова, чтобы спросить отца о том, что мучило его предощущением непоправимого несчастья, отчего просыпался он в ледяном поту и обессиленный, подолгу лежал, как в прелом гробу, в духоте и темноте казармы, где храпело, булькало, воняло то страшное и безжалостное, имя чему было «армия» и что имело одно назначение — убивать людей.

— Вот ты говоришь, — с судорогой в горле начал Егор, хотя отец молчал, но и молчанием словно повторял, упорствуя, сказанные ранее слова. — Ты говоришь... А если б, к примеру, тебе приказали те, кому на святой Библии в верности присягал, по людям на коне скакать, плетью их стегать, шашкой рубить? Что бы ты сделал?

Старик закряхтел, широко перекрестился мосластой рукой — о могуществе плеч своих напомнил, а Егор, не давая ему слова вымолвить, всё спрашивал об этом, свистящим шёпотом повторяя одно, уже и ответа не дожидаясь от отца, словно в забытии, в исступлении каком-то всё сильнее, до боли уже сжимая плечо Дуни, прижимая к себе горячую, вспотевшую Мишаткину головёнку. Дуня боязливо вздрагивала, а сын вскинул голову, так что рука Егора, царापнув лицо его твердой и шершавой, пахнущей ружейным маслом ладонью, на миг заслонила глаза мальчишке и повисла вдоль отцова лампаса.

— Люди же, люди! С глазами, понимаешь? А глаза те — в душу устремлены, в самую её сердёдку...

— Ну, вот что, — вдруг твёрдо и сурово прервал его Михаил Прозоров, собрав в кулак седую бороду, точно на ней, как на старости своей, присягая. — Ничего этого делать нельзя.

— Не стрелял бы, значит?

— Нет, не стрелял.

— И на коне не скакал бы в толпу, корпытами людей не трогал бы, нагайкой не хлестал, шашкой не рубил?

— Нет, — упрямо повторил старик. — Потому что, ежели себе позволить али другому кому приказать человека ни за что убить, — это значит: нет тебе ни среди людей, ни на ихней земле места.

— Ну, а коли рядом другие стреляют, топчут, хлещут, рубят — что ты сделаешь?

— Остановлю, — отец посмотрел Егору в глаза.

— Да как остановишь?

— А так. Крикну: «Остановитесь, люди, о Боге вспомните!»

— Ну, а как не послушают?

— Послушают, — упрямо крутнул головой Михаил Прозоров.

— А коли нет?

— Послушают! — упрямо повторил он.

— Ну, а как не послушают? — тихо и неожиданно подал голос Мишатка, такими же, как у Дуни, расширившимися глазами глядя на деда.

А Егор скривился, сморщился, скрутил, точно судорогой, голову на сторону, простионал:

— Эх, просто же это у вас... Кабы так оно...

Он и не понял, во сне это было или наяву, или это память так явственно показала ему то, что тысячу раз хоронил в душе, уничтожал в мыслях, топил в водке, но не мог ни утопить, ни изничтожить... Они летели над мостовой, лениво покачиваясь в странном безжизненно-светлом воздухе, а шум был впереди, он нарастал, это шумела толпа, которая, завидев их приближение, стала стремительно разваливаться, рассыпаться... Люди, давя и сбивая друг друга с ног, бежали в переулки, дворы, лезли на заборы, на деревья... Шум усиливался, но был словно отдельно — подобно тому, как лёд, и сверкая, остается холодным — шум не мешал той леденеющей, губельной тишине, которая разрасталась, повисая над мостовой огромной льдиной, готовой каждый миг упасть и разлететься вдребезги... От этого всё сжалось внутри и последней живой жилкой колотилось только где-то в виске: а может быть, проснусь... кто-нибудь разбудит... оборвёт всё это? Тряхнёт за плечо, хлопнет над ухом — и всё исчезнет, и ничего не случится... Но они всё летели вперёд, и тогда Егор мягкими, как во сне, вялыми, непослушными руками из последних сил попробовал направить коня в сторону, и тот неожиданно подчинился ему, словно и коню тоже хотелось выбраться из этой лавины... Но вырваться из неё уже нельзя было: мимо проплыл близко и тихо капитан Круть, беззвучно скалясь, поставив голову боком — лицом к Егору, плавно поднял руку и хлестнул по морде Егорова коня, возвращая его в строй, на самый стрежень лавы.

И вот уже они под ногами — ломающиеся на куски лица, разодранные неслышным криком, вот они, мягкие толчки по мягким опадающим телам, а копыта коня словно вязнут в них, он выдергивает их, высоко вскидывая, словно танцуя посреди плещущих со всех сторон чёрными струйкам нагаек и слепительных сабельных росчерков... Но почему нельзя остановить это медлительное движение, пока страшное колесо не подтащило его к самому концу, не наклонило его вплотную к земле — до рези в зрачках — к тем, пылью запорошенным глазам, которые, с мёртвой глубиной пристальностью впившись в него, навсегда остались в его глазах смертным морозом. И сколько их было потом — этих тусклых остановившихся глаз — все добавляли свой взгляд к тому первому, словно он-то и был из них самым главным, собирая в себе одном всю их погубительную силу, становясь оттого всё мертвее... Взгляд, которым всё началось, но всё и кончится, потому что настанет час, когда разлетится вдребезги ледяная тишина и над мертвенно-серебристой пылью прозвучит голос, который спросит:

— Что сделал ты? Голос крови брата твоего вопиет от земли!

...Егор вскочил и, натягивая на бегу шинель, сунув в карман наган, который Дуня нашла под платком на лавке, выскочил из дому.

Шли они молча. Головы у Аверина и Прозорова обвязаны не то засохшим, не то смёрзшимся окровавленным тряпьем. Борода у Прозорова торчит, точно топором из корявого дерева вырублена. Обросло щетиной раздувшееся сизое — сплошной синяк — лицо Аверина, ещё более похожее теперь на поковку из сине-серой стали. Только у Домбровского на белом с запавшими щеками лице — притупившийся клинышек бородёнки. А глаза совсем канули в чёрных глазницах, и веки — цветом в свинец. Обессилел учитель, дорога качается, если б не руки друзей, с двух сторон подхватившие догорающее тело, не удержался бы на ногах. Одна мысль у него: дотянуть до конца, к плечу плечом принять круговую смертную чашу.

Шурстит волчья позёмка. Сечёт лица ветряная снеговая пыль. Несколько конвойных, ёжась от озлевшего поутру мороза, идут по бокам с ружьями на весу. Чуть сзади на лошадях Круть, Охлопков, Яшка и Анисья Серяковы, притихшие. Один Охлопков временами что-то бормочет под нос — похоже, матерное.

Уже посветлело, край неба — калёной каймой. Разгорается утро к непогоде, наливается алым, поднимается, разбрасывая огненные отблески на белоснежные шапки домов, на белые полущубки деревьев, на округлости низких, к новому бурану отяжелевших облаков. Сочится яркий алый след по церковному куполу, как по надрубленному плему точащей из земли головы. Взирает она ослепшими, мертвыми глазами на израненную площадь, на мёрзлые присыпанные снежком небурные тела расстрелянных, на конников и конвоиров, на обвязанных одной верёвкой людей, бредущих через площадь последней своей дорогой. А эти, бредущие, подталкиваемые конвоирами, не могут отвести взгляда от товарищей своих, оледеневших, босых, разутых хозяйственными палачами... Аверин укоротил шаг, за ним и Прозоров. Домбровский, сгорбившись, подавил заколотавший в груди, подкативший к горлу кашель, загнал его вовнутрь, в большие потёмки стиснутой изо всех сил груди... Конвойные заработали прикладами и железками стволов, заорали:

— Пошёл! Пошёл!

У Петра Прозорова нестерпимо болела голова. Боль раздирала, вспарывала её изнутри. Но и такая она не могла заглушить мысли об отце, а вроде бы даже острее их делала и зримее. Он будто увидел его на площади — высокого, даже к старости не огорбевшего — среди обезумевших от страха односельчан и озверевших от крови убийц. Увидел его — громко, но одиноко и тщетно призывающего палача к состраданию, к божьему участию. А что же Бог? Упрятался, как сыч, разве что орёт по ночам с креста дурным голосом. Чего же молчало ты, слово Божье? Отчего был нем твой колокол, самоварная твоя медь? Да тут не то, что медные волны катить, тут палить надо было, как из медной пушки, в супостатов! Нет не твоим церковным языком надо с народом говорить. Перевернуть жизнь таким словом надо, какое не на молебен зовет, а на борьбу, на битву за правду и справедливость.

Безлюдна площадь. И село словно вымерло. И нет в нём отзвука тяжёлым шагам людей, идущих навстречу смерти. И только онемевший колокол вдруг отозвался унылым покойническим стоном... И в доме Серякова вдруг заорал, кося от страха глазами, слабоумный брат Арсения Серякова, стягивая его сонного с перины, указывая прыгающей рукой туда, вниз, где под полом, в опустевшей подклети, повисла в пеньковой петле, покачиваясь и холодея, задрав багровое лицо и вывалив синий язык, так и не договорившаяся с Богом жена Арсения — поповна.

За селом дорога раздвоилась: одна вниз к реке пошла, другая — на подъем, в поле. И хотя погнали их вниз, к реке, мыслями и памятью понесло Петра Прозорова в поле, туда, где лежала под снегом та самая земля, за которую пролилось столько крови, заждавшаяся под снегом весны и пахарей своих, готовая зерно принять, чтобы прорастить посев, дать обильные всходы и добрые урожаи... Готовая и похоронить белые человечесьи кости, и удобрить ими свой жирный чернозём.

Вспомнилась Петру Прозорову та дальняя весна, когда отец повёл его в поле впервые самому землю пахать. Сколько лет до того бежал Петр рядом с отцом и братом Егором, погоняя волов, тащивших тяжёлый деревянный плуг — сабан, присматриваясь к тому, как подрезает его лемех и бережно, не ломая, переворачивает верхней стороной вниз, приваливая его углом к предыдущему пласту, чтобы дышала земля, но и не отдавала без нужды ветру влагу, назначенную зерну.

В тот день мать принарядила Петрушу в синюю с красной каймой и красными полочками рубаху, отец и Егор тоже, как на праздник, надели чистые холщовые рубахи, все были озабочены и немногословны, точно таинство, в которое посвящался Петр, требовало такого порядка.

И вот знакомый с делом, не раз помогавший старшим Пётр собственноручно цепляет плуг хомутом к правёлу, припрягает волов к передку деревянными виями, надевает на их могучие и покорные шеи своими руками ярмо. Потом выводит волов в невспаханное ещё поле.

Егор с длинной хворостиной идёт с левой стороны, погоняя скотину, доброй улыбкой подбодряя взопревшего от волнения брата. Отец идёт рядом с младшим сыном и, почти ничего не говоря, одним взглядом подсказывает ему, что делать.

Нелёгкой была первая борозда. Окрепший к той весне Пётр без особого усилия приподнял плуг, чтобы лемех вошёл в землю... Но надавить его ручки так, чтобы, как у отца, сразу же ушёл нож на всю нужную глубину, не смог. И пласт сперва пошёл у него мелкий, какой-то пьяный, неровный, ломкий — плуг не вспахивал, а царапал жнивье. Но где-то внутри, и в душе, и в молодом его теле поднимались, прибывали, как вода в половодье, новые силы, словно сама земля, разогретая весенним солнцем, нетерпеливо жаждущая семени, щедро давала ему их... И ощутив, как руки его наливаются этими древними силами, Пётр снова нажал на плуг, и он, послушный его крепнущей, мужающей хватке, пошёл глубже и ровнее.

В конце борозды отец взял с телеги узелок, вынул из него кусок чёрного хлеба, круто посолил крупной и тусклой, как слюда, солью, плеснул в глиняную кружку квасу и подал Петру, пророкотав светлым басом:

— Трудящийся достоин награды за труды свои.

И сейчас, вспоминая тот далекий, голубой дымкой задёрнутый день, чувствуя во рту тот кислый ржаной ломоть, сладкую свою слюну и солёную крупную соль, ни о чём, кажется, не пожалел Петр Прозоров так сильно, как о том, что мало вспахал на своём веку пашни дедовым плугом, мало пота пролил на родимой и горькой своей земле.

14.

Дорога, прорезав крутизну холма, круто свернула, сразу же открыв широкую, ровную и белую ленту реки с чёрной дымящейся дырой проруби — подальше от берега, над глубиной. Подле проруби притоптывали сапогами несколько прозябших солдат, обламывая обледенелыми топорами быстро схватывающиеся прозрачные и хрупкие ледяные закрайки.

Один из солдат, должно быть, старшой, оглянулся и, с трудом двигая непослушными от холода губами, доложил, запинаясь:

— Пролубь готова... ваше благородие!

Капитан Круть прыгнул с коня неожиданно поскользнувшись на притопанном снегу, кое-как удержался на ногах, вцепившись в седло, потом подошёл к проруби, поёжился — мороз ещё злее пробирал вблизи чёрной тяжело плескавшейся о толстый лёд воды.

— Давай их сюда! — скомандовал Круть, и Охлопков, не слезая с лошади и не снимая рукавиц, указал конвойным, как поставить командиров на самый край проруби, спиной к воде. Солдаты, приготовившие прорубь, вдруг присмирели и, поставив топоры у ног, сняли шапки.

— Чо, чо разжалостивились? — крикнул на них Яшка Серяков, но они, ничего не ответив, так и стояли молча с шапками в руках.

Петр Прозоров взглянул на них и вдруг заговорил, сперва тихо, потом всё громче крепнувшим набатно гудящим в морозном воздухе басом:

— Братцы! Пошто оглохла и ослепли к правде? Земля наша струнулась с места и плывёт к берегу справедливому. Зачем же нам сталкивать с неё друг друга, топить по приказу? Да неужто вот эти на ней останутся? — Он ткнул рукой в сторону Крутя и сомкнувшихся за его спиной Охлопкова, Яшку и Анисью. — Нешто мы дозволим, чтобы они на нас и на наших детей снова своё ярмо напялили? Так не быть же этому!

— Молчать! — взвизгнул Круть. — Под лёд, под лёд их!

Конвойные вскинули ружья, несколько выстрелов далеко раскатились по ровной снежной глади реки... Домбровский скорчился, боком скатился в воду и сразу без брызг ушёл под лёд, подхваченный течением. Раненых Аверина и Прозорова столкнули в прорубь прикладами. Тяжёлый, не умеющий плавать Аверин захлебнулся ледяной водой, острой ножа полоснувшей по груди, и, плеснув руками, погрузился вслед за Домбровским. Только Прозоров, точно ошпаренный, взмахивал руками, кроша слабый ледок, затягивающий прорубь... Круть несколько раз выстрелил почти в упор ему в голову, только тогда медленно пошла она под воду, а вслед за ней, ещё медленнее, намокшая чёрная повязка... Последним гаснувшим взглядом заливаемых кровью и водой глаз увидел всё-таки Петр Прозоров, как из-за поворота дороги вылетело, стремительно скатываясь к реке, что-то чёрное.

За выстрелами каратели не сразу заметили Егора, а когда он круто осадил скользящего и брызнувшего из-под копыт снегом и льдам коня, прыгнул и бросился к капитану, было уже поздно... С бешеной задышкой — не то стоном, не то рычанием — Егор схватил капитана за горло, сгибая его назад, к свинцовой чёрным страхом плещущей воде. Тот захрипел, закатывая глаза, из последних сил вырываясь, скользя сапогами, но Егор стиснула руки так, что хрустнуло, переломилось капитаново горло, и швырнул его, обмягшего и посинелого, в прорубь.

Первым опомнился Охлопков. Когда Егор обернулся, пуля шлёпнула его под вздох, в след за ней просверкнула Яшкина сабля, и на миг дымный кровавый клин расколол мир, светивший в глаза Егору — небо, снежный откос, реку, по-разному перекошенные лица конвойных — и погасил его навсегда, вместе с той пыткой, которую принял в своей бывшей жизни Егор Прозоров.

15.

И ещё бесилась и хохотала метель, слепила очи и оглушала слух унывным воем, и не раз ещё гремели выстрелы и на глазах Володьки Говорова падали на сумеречный снег друзья его и соратники, и горько ему было, и жизнь собственную он понимал так, что прожить он должен за них, чтобы исполнить помыслы их и мечты.

И ещё чувствовал он, что долг его — не только завоевать и сделать всё, за что воевали и отдали жизнь друзья его и наставник, но и пронести, но и воплотить память о них — такую прекрасную и живую, чтобы всегда они были рядом с теми, кто приходит в этот мир и несёт дальше и дальше великое и негасимое пламя светлой мечты и праведной жизни.